

## Лодки-струги



На гербе Струго-Красненского района изображены две лодки, которые называют стругами. Одна из легенд о происхождении названия современного посёлка Струги Красные, хоть и имеет мало общего с действительностью, но также связана именно с таким типом лодок, а именно со стругами.

Постараемся же разобраться, что это были за лодки, по какой причине их назвали стругами и чем они отличались от остальных средств передвижения по воде.

Обратившись к словарям и энциклопедиям можно найти разные описания струг, но в основном они едины:

Струг (от слова «строгать») – плоскодонное гребное (иногда и парусное судно), применявшееся в России в период с XI по XVIII века, использовавшееся для плавания по рекам и озёрам, с одинаково острыми носом и кормой, служившее для перевозки людей и грузов. Размеры струг сильно варьировались в зависимости от назначения, на достаточно больших стругах иногда располагали каюты, в основном, в кормовой части.

Струг малого размера назывался – стружек или стружок.

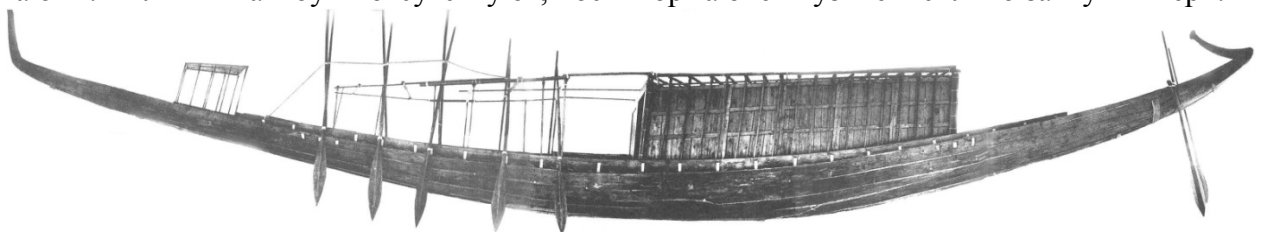
Если же рассматривать с исторической точки зрения, то после лодок-долблёнок, пирог и т.п., лодки-струги – древнейшие средства передвижения по воде.

Самым древним изображением лодок-струг несомненно, являются многочисленные росписи и барельефы Древнего Египта. В Древнем Египте вытянутые лодки с поднятыми носом и кормой, сделанные из досок были средством передвижения фараона и богов. Такие лодки изображены как средство передвижения, например, бога Ра, который на подобном струге путешествовал днём по небу, а ночью по царству мёртвых. На данный момент обнаружено несколько сохранившихся в разобранном виде погребальных лодок-струг фараонов, возраст которых не менее 4500 лет. Данные лодки использовались в погребальной церемонии при захоронении фараона. Именно на таких лодках забальзамированное тело умершего фараона доставлялось по Нилу к месту захоронения.



Изображение древнеегипетского струга. Барельеф, роспись

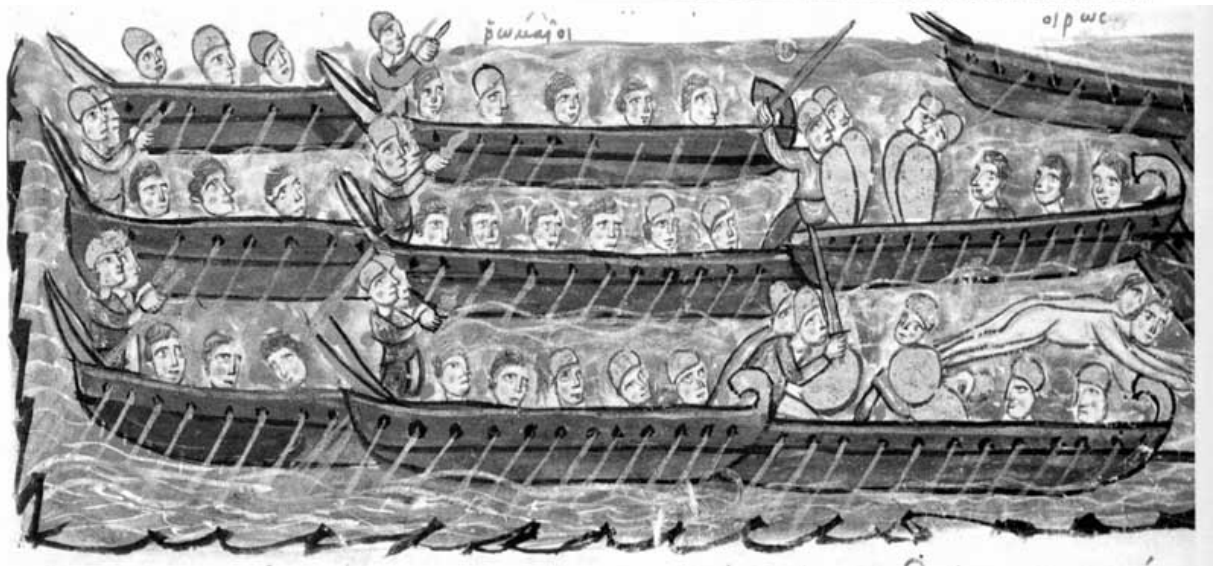
Обнаруженная возле пирамиды Хуфу (Хеопса) погребальная лодка фараона была скрыта каменным саркофагом. Египетские и японские археологи извлекли её и собрали. Данная лодка сделана из ливанского кедра. Длина её составила 43,3 метра, ширина – около 6 метров, осадка судна – небольшая, всего 1,5 метра. На лодке располагались две каюты. Киль и шпангоуты отсутствуют, нос и корма очень узкие и сильно загнуты вверх.



Погребальный струг фараона

Лодки-струги использовались повсеместно и в средние века, например, известно несколько изображений таких лодок на миниатюрах в греческих и византийских книгах.

Определить, по изображению, струг достаточно просто, - одним из основных отличительных признаков является форма лодки в виде полумесяца с заострёнными поднятыми носом и кормой, также наличие вёсел.



Струги в византийских книгах

В источниках Древней Руси существуют также несколько графических изображений и письменных упоминаний.

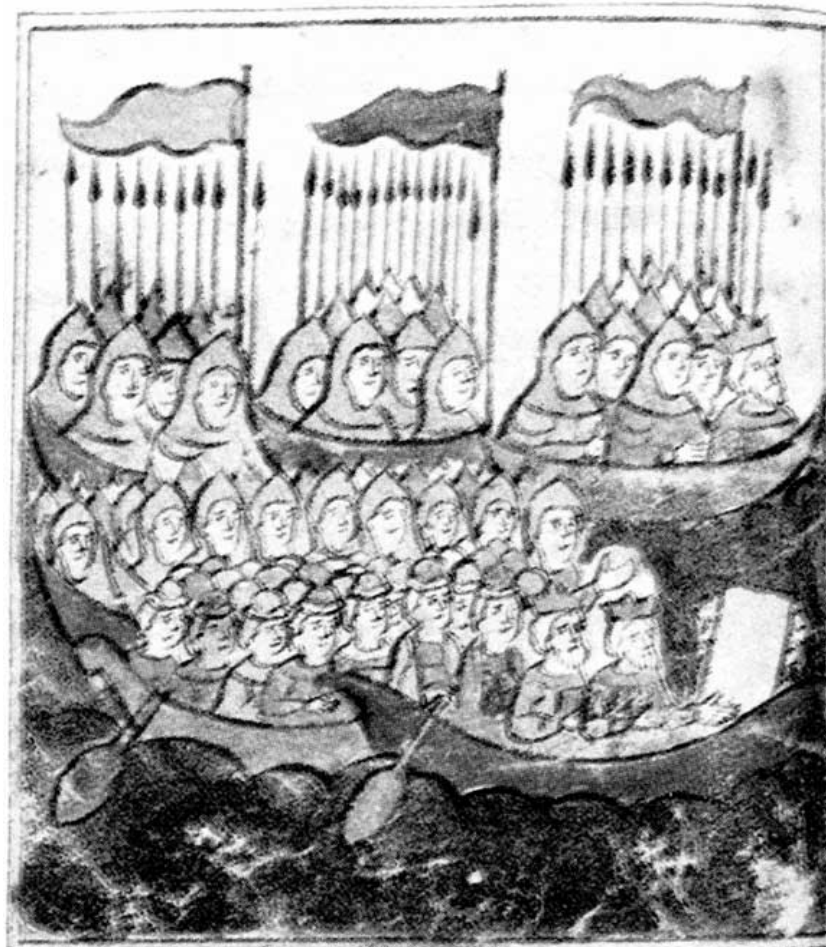
Например, одним из самых древних письменных упоминаний слова «струг» является текст Русской Правды, написанный в XI веке:

*«А же лодью украдетъ, то 7 кунъ продаже, а лодию лицемъ воротити, а за морьскую лодью 3 гривны, а за набоиною 2 гривне, а за челнъ 8 кунъ, а за **стругъ** гривна».*

Так же написанный в конце XII столетия текст Слова о полку Игореве:  
*«Нетаколи, рече, рѣка Стугна; худу струю имѣя, пожръши чужси ручьи и стругы, ростренакусту, уношу князю Ростиславу затвори Днѣпръ».*

На некоторых миниатюрах, размещённых в тексте русских летописей, также угадываются изображения лодок-струг:





Стругина миниатюрах в русских летописях

В памятниках древнерусской литературы термин «струг» упоминается гораздо реже, чем названия «корабль» и «ладья». Этот факт объясняется достаточно просто: помимо сравнительно небольших размеров струг, они употреблялись преимущественно для простых хозяйственных целей – передвижения или перевозки грузов, а данные вопросы вообще, редко затрагивались в древнерусской письменной литературе.

Какова была конструкция древнерусских струг доподлинно неизвестно. Описаний их в русских источниках не обнаружено. Единственное указание на конструкцию малого струга даёт «История северных народов» Олауса Магнуса, который описывая набеги «москвитов» на шведские земли в Восточной Карелии в XV веке указывает, что русские и карелы использовали для набегов суда, называемые «strudzar». И это были «лёгкие и

длинные лодки, сделанные из выдолбленных сосновых стволов, способные вместить от 20 до 25 человек». При этом суда изготавливались перед походом прямо на границе в специальных ямах, чтобы не было видно дыма от костров. Иллюстрирует этот рассказ гравюра, на которой изображены пятеро вооружённых «москвитов», несущих на плечах лодку длиной около 2,5 метров. Эта лодка имеет гладкие борта без единого намёка на доски и является точным изображением судов, известных сегодня как «распаренные однодревки без набоев».



Гравюра из книги О. Магнуса «История северных народов»

Данная технология известна как минимум с IX века и была распространена в районе Великого Новгорода и в Карелии, куда она попала из Приильменя. Древнейшие остатки таких судов были найдены в Великом Новгороде в слоях, отнесённых к началу XI века. Реконструкция данного артефакта выявила следующие конструктивные параметры и особенности: длина общая – 6,75 метра, ширина – 90 см, высота борта – 55 см, корпус имел 9 гнутых шпангоутов, крепившихся к корпусу пеньковой верёвкой на выструганных костылях. Данное судно вмещало не менее 10 человек. Нет никаких сомнений, что по такой технологии могли изготавливаться и лодки, вмещавшие по 20-25 человек. Их длина могла составлять не более 12-13 метров. Кроме того они могли иметь набойные или шитые к основному корпусу дополнительные пояса досок. Из русских судебныхников, например, известны «струги набойные».

На карте окрестностей Колы голландского путешественника Якоба ван Хемскерка XVI века также изображена композиция несения струга, очень напоминающая гравюру из книги О. Магнуса, но здесь на бортах лодки явно видны доски, что, вероятно, отражает

следующий этап развития технологии производства струг путём использования гнутых струганых досок.



Фрагмент карты окрестностей Колы.  
Я. Ван Хемскерк. XVI век

В книге немецкого путешественника и учёного XVII столетия Адама Олеария «Описание путешествия в Московию...» также присутствует гравюра достаточно большого струга, имеющего мачту и палубу, плывущего по Волге.

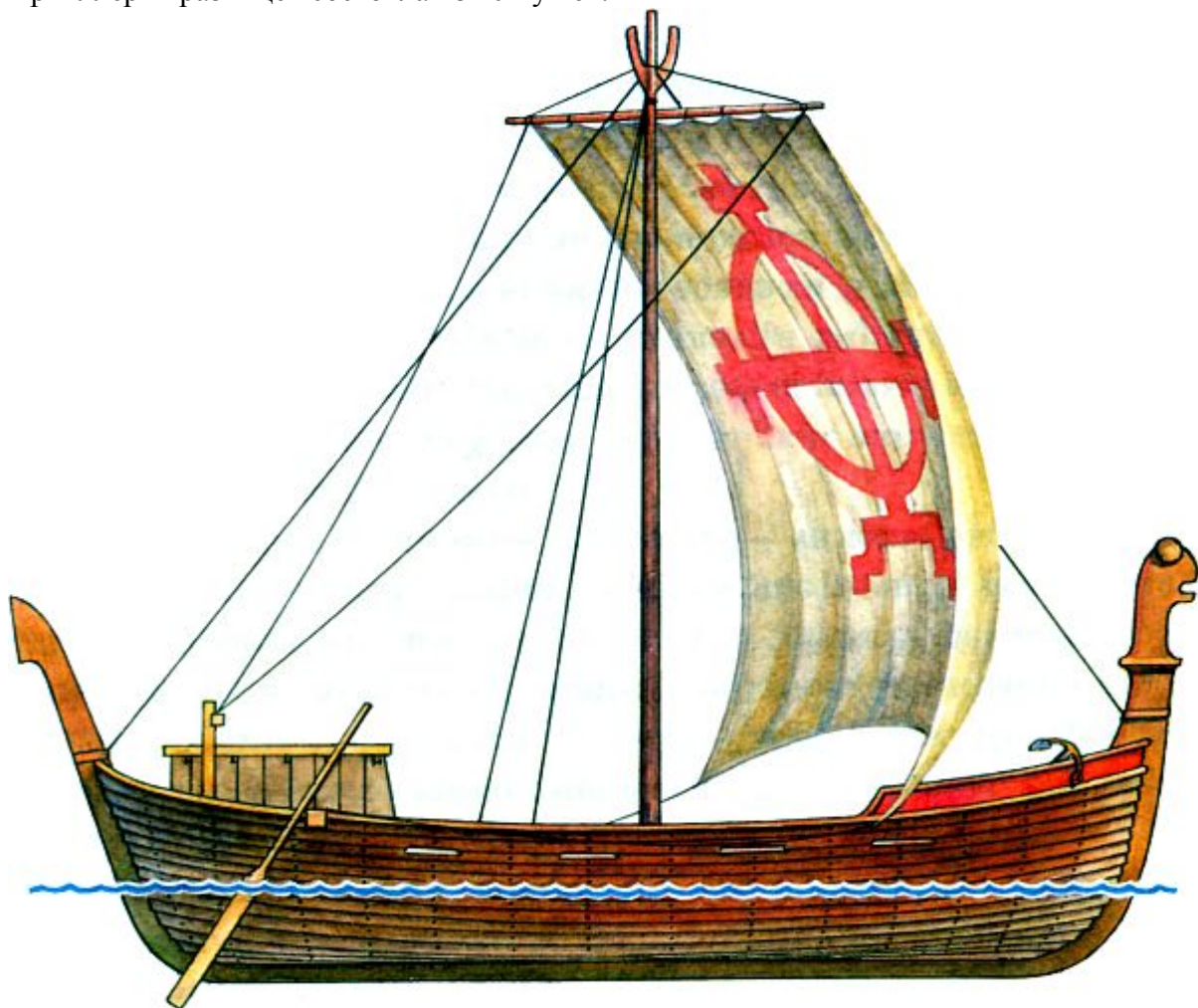


Струг на Волге. Гравюра из книги А. Оллария. XVII век

Иногда корабли завоевателя Сибири – Ермака Тимофеевича называют стругами. Это и не удивительно, ведь перемещаться по территории, где не существовало дорог, пешему воину было невозможно, а при передвижении по рекам на стругах воин вёз не только себя, но и солидный груз. В случае же если в нужном направлении водной магистрали не имелось, то было несколько решений проблемы: разгрузить струги и перетащить их на руках через водораздел (никакое другое судно кроме струг не имело такого преимущества), либо сделать переволоку из брёвен и перекатить струг с грузом, либо просто разгрузить судно и бросить его, ибо не велика потеря. А при достижении следующей реки новый струг сооружался силами экипажа при наличии подходящего леса, инструментов и опыта, буквально за несколько дней. Правда такой наскоро построенный из непросушенной древесины струг служил в хорошем случае не более одного сезона, но на большой срок он и не был, обычно, нужен. Без такого средства передвижения, безусловно, невозможна бы оказалась колонизация Сибири.



Восставшие казаки под предводительством Степана Разина также передвигались по Волге на стругах. По данным шведского посла в Иране Э. Кемпфера у разинцев было около 30 речных стругов, на каждом из которых располагалось по 2-3 пушки. По русским же сведениям, казаки имели 23 судна, в том числе 15 крупных «морских стругов». Артиллерия разинцев состояла из 40 пушек.



Морской струг. Россия XI-XVIII вв. Реконструкция В. Дыгало.

Хотя возможности струга были крайне ограничены при передвижении по морским просторам, и плавание на стругах по морю было чрезвычайно отчаянным предприятием, ибо в случае шторма и невозможности причалить к берегу, струг оставался на плаву ровно столько времени, пока у экипажа хватало сил удерживать его носом на волну.

Для нападения на другие суда струг также имел мало возможностей. Экипаж был очень уязвим и слишком занят вёслами, чтобы успевать вести бой. Однако, струг, никогда и не предназначался для ведения морского боя – это было средство передвижения войск по воде. Хотя случались и исключения, уже упомянутые казаки Стеньки Разина во время набега на Персию разбили персидский флот в море, причём, персы также были на стругах, специально построенных для десанта на занятый Разиным остров.

Струги – были лёгкие, быстроходные суда, их малая осадка позволяла плавать по мелководью: рекам и озёрам. Струги были хорошо приспособлены к волоку, имели такой корпус, который не повреждался во время волока. В случае плохой погоды русские мореходы вытаскивали суда на берег, причём это было бы невозможно сделать, например, с галерой, которая соразмерна со стругом, но гораздо тяжелее последнего. А обоюдоострые нос и корма струга позволяли достаточно легко затащить судно на берег и также обратно спустить его на воду.



А. Шхонебек. «Взятие Азова». Рисунок. 1699 г.

Струги с некоторыми модификациями, несомненно, повсеместно использовались вплоть до XVIII века, но в военном деле применялись редко.

Последнее применение струг в военных походах и баталиях относится ко времени правления Петра I. При подготовке второго Азовского похода зимой 1696 года в Воронеже и Преображенском было развёрнуто масштабное строительство кораблей. В Воронеже и Воронежском уезде было подготовлено к спуску 522 струга, 42 мореходных лодки и 134 плота.

Именно струги изображены на рисунке А. Шхонебека «Взятие Азова». Эти суда, судя по рисунку, прекрасно ходят на вёслах, имеют одну мачту с большим прямым парусом. Вместо полубака – ровная палуба, её носовая часть без фальшборта, ровная площадка для действия абордажной команды.

Использовались струги и при ведении Северной войны, так на рисунке М. Бакуа «Гангутский бой», на первом плане строем фронта идут гребные суда, на каждом 20-21 пара вёсел, выше второй фронт таких же гребных судов. Несомненно, это большие боевые струги. На полотне Л. Каменева, отражающего тот же бой у полуострова Гангут (Ханко) 1714 года, на переднем плане струг идёт на абордаж шведского корабля.



Л. Каменев. «Гангутский бой»

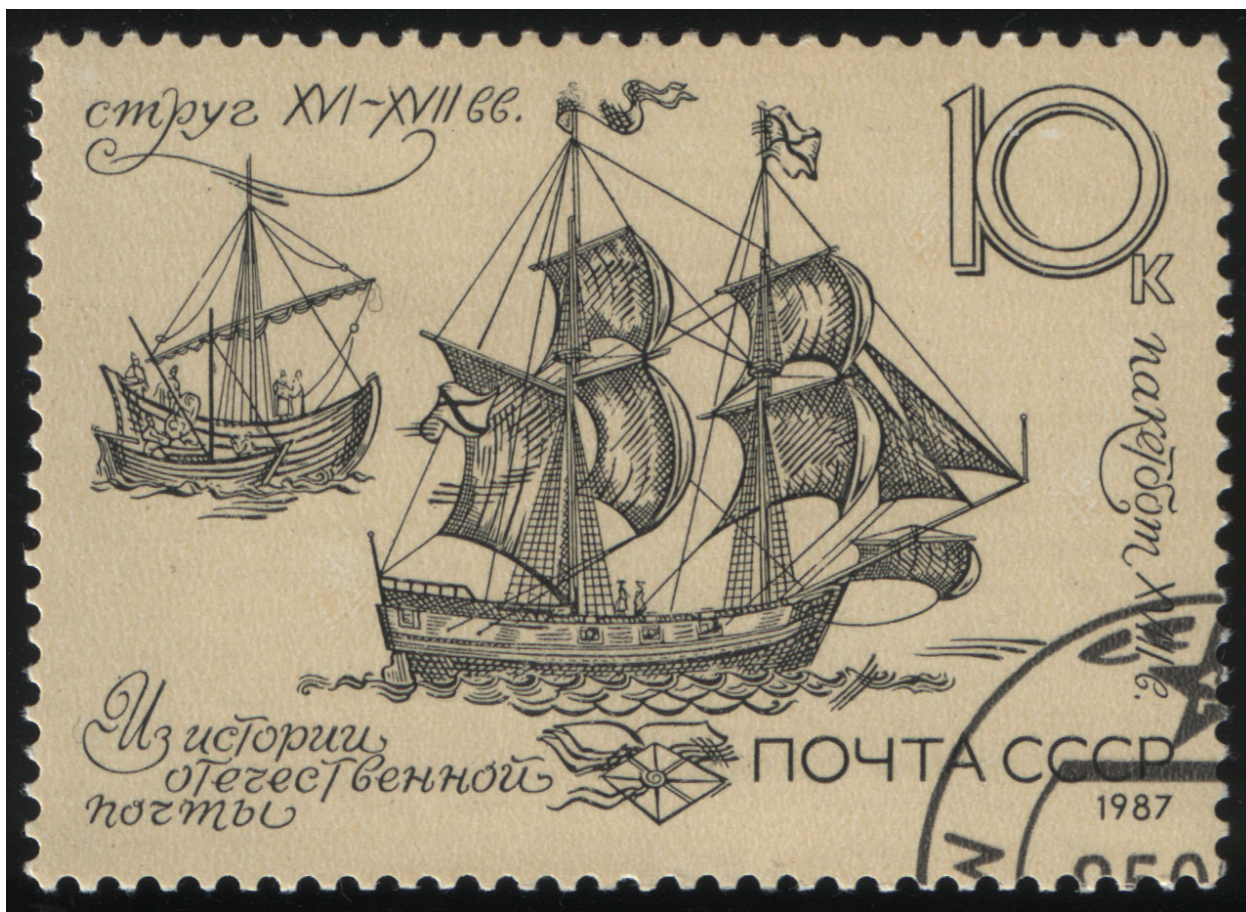


Реконструкция боевого струга конца XVII – начала XVIII вв.

Закончилось строительство струг, по причине их ограниченного боевого применения в пользу галер и более внушительных судов, на которых была возможность поместить артиллерию, также при Петре I, указом от 28 декабря 1715 года: «По получении сего указа объявите всем промышленникам, которые ходят на море для промыслов на своих ладьях и кочах, дабы они вместо тех судов делали морские суды галиоты, гукары, каты, флейты, кто из них какие хочет, и для того (пока они новыми морскими судами исправятся) даётся им срок на старых ходить только два года».

Так закончилась тысячелетняя эпоха славного служения струг людям.

И в заключение добавлю, что в 1987 году почта СССР выпустила серию марок «Из истории отечественной почты», на одной из марок изображены почтовый струг XVI-XVII веков и пакетбот XVIII в.



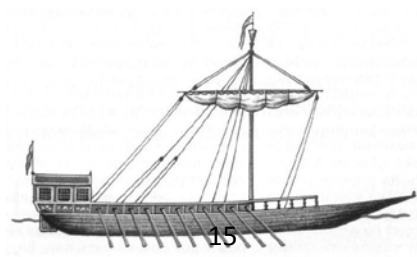
Марка почты СССР, посвящённая истории отечественной почты

*Алексей Фёдоров, 2013*

Источники:

1. Б.Л. Богородский, Д.С. Лихачёв, О.В. Творогов, В.Л. Виноградов. Словарь-справочник "Слова о полку Игореве": в 6 выпусках. - АН СССР. Ин-т рус.лит. (Пушкин. Дом); Ин-т рус.яз; — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1965—1984
2. Вологда в минувшем тысячелетии: Очерки истории города. – Вологда: Древности Севера, 2004
3. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. - СПб., 1906. - С. 362

4. Самойлов К.И. Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941
5. Толковый Военно-морской Словарь, 2010
6. <http://www.baltic-sunken-ships.ru/page.phtml?id=171&mid=144>
7. <http://flot7.narod.ru/ussr/strug/istrf1.htm>
8. <http://zealot.h1.ru/history/sorts/shipshist.html>



*Федоров Алексей Иванович*

### **Улицы посёлка Струги Красные**

У каждого из нас есть родная улица, на которой родился, вырос, где живут родственники и друзья, стоят знакомые дома, растут знакомые деревья. Улицы, как и люди, имеют свою биографию, свою жизнь, свою судьбу. История нашей малой Родины, её прошлое, настоящее и будущее, память о людях и делах, значимых событиях отразились в названиях и биографии наших улиц.

С каждым годом растёт и ширится посёлок Струги Красные, застраиваются всё новые и новые площади, занятые прежде лесом и полями. На текущий момент на территории посёлка насчитывается 65 улиц и 20 переулков.

Названия данных улиц и переулков складывались по-разному. Некоторые названия улиц характеризуют особенности местности и природного ландшафта, например, Береговая улица частью своей проходит по берегу реки Белой (Щировки), Боровая примыкает к сосновому бору, вдоль всей улицы Лесной – до Великой Отечественной войны росли высокие сосны; Парковый переулок расположен в Холохинском парке.

Некоторые названия улиц сохранились ещё с конца XIX – начала XX века. Например, улица Школьная находится достаточно далеко от современного расположения здания школы, а названа она так по располагавшейся рядом Успенской церкви-школы; за зданием Администрации района расположена улица Базарная, которая ранее начиналась от Базарной площади, ныне не существующей.

Часть названий сложилась в первые годы советской власти. Улица Жертв Революции начинается с одноимённой площади, на которой находится братская могила красноармейцев, погибших в период Гражданской войны; улица Революционная названа в честь победы Октябрьской революции; улица Партизанская (ранее – Зиновьев переулок, а в период фашистской оккупации – Дровяная) в память о Красных Партизанах, защищавших идеалы советской власти; улица Комиссаровская в память о неизвестном расстрелянном комиссаре.

Часть названий сложилась уже после Великой Отечественной войны, например, такие улицы как Индустриальная, Мелиораторов, Промышленная, Энергетиков и другие.

Такие улицы как Высокая Дачка, Запольская, Марьинская появились в последние 20 лет в связи с бурным строительством частных домов.

Но существуют шесть улиц на территории посёлка, которые имеют не просто названия, но носят имена людей, оставивших след в истории. Это улицы Павлина Виноградова, Сергея Волкова, Василия Егорова, Тамары Ершовой, Николая Кудрявцева, Петра Ленкова.



В данной статье я последовательно расскажу о судьбах упомянутых личностей, оставивших своим именем след не только на карте посёлка Струги Красные.

### Павлин Виноградов

Павлин Фёдорович Виноградов родился 23 января (4 февраля по новому стилю) 1890 года в деревне Заянье Юдинской волости Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне в Плюсском районе Псковской области), которая располагалась на левом берегу реки Яни. В семье росло четверо детей. Ещё в 90-х годах XIX века семья переехала в город Сестрорецк. Отец работал приказчиком на табачной фабрике, тяжело болел туберкулёзом и в 1899 году умер. В 12 лет Павлин начал работать. Работал на Сестрорецком оружейном заводе, в чертёжной мастерской Семянниковского (Невского) судостроительного завода. Принимал участие в демонстрации рабочих завода 17 октября 1905 года, учился в Смоленской воскресной школе, в которой ранее преподавала Н.К. Крупская.



П.Ф. Виноградов

В 1909 году умерла мать.

Когда пришла пора призыва в армию, пытался от него уклониться. Осенью 1911 года Виноградов пишет в Юдинское волостное управление: «Я, крестьянин деревни Заянье Павлин Виноградов, в Гдовское военное присутствие являться не намерен... Нахожу, что поступлением в армию я только тормозил бы наступлению более разумной и справедливой жизни». Пытался скрыться от призыва на военную службу, переехал за Нарвскую заставу, сблизился с рабочими Путиловского завода. Но в 1912 году был задержан и под конвоем доставлен в 92-й Печорский пехотный полк. 5 апреля 1912 года Виноградов отказался принять присягу.

Газета «Правда» № 32 от 1912 года писала: *«На прошлой неделе привезли из Нарвской гауптвахты арестованного солдата Павлина Виноградова, обвиняемого в том, что он отказался дать присягу. Следствие окончено, и в конце июня состоится суд».*

12 августа 1912 года военный суд приговорил его к двум годам дисциплинарного батальона и отправил служить в деревню Медведь (ныне в Шимском районе Новгородской области).

За агитацию против существующего строя среди осуждённых солдат в конце 1912 года Виноградов снова был судим военным судом, и срок ему увеличили до восьми лет. На суде Виноградов заявил: *«Я вёл пропаганду против существующего строя с целью свержения его».*

Заклучили его в Шлиссельбургскую крепость, в которой он находился более двух лет, затем был отправлен в Сибирь в Александровскую центральную каторжную тюрьму близ Иркутска. После Февральской революции в феврале 1917 года был освобождён.

В 1917 году Виноградов женился на дочери учителя из села Заянье. Жену звали Ольга Владимировна. Молодожёны переехали в Петроград, а после в Архангельск, где у них родился сын.

В 1917 году Виноградов участвовал в подготовке борьбы с войсками генерала Корнилова – организовал из добровольцев – рабочих Невской заставы Петрограда отряд Красной гвардии; участвовал в Октябрьской революции и штурме Зимнего дворца. После Виноградов работал в продовольственном комитете Александро-Невского района Петрограда. Оттуда его в феврале 1918 года направили в Архангельск, чтобы он организовал отправку в Петроград десяти тысяч пудов хлеба. Когда хлеб был отправлен, Виноградов остался в Архангельске. Сначала его избрали членом, а затем товарищем (заместителем) председателя Архангельского губернского исполкома.

В Архангельске Виноградов также организует отряды Красной гвардии, участвует в составлении устава Красной гвардии.

Летом 1918 года в Архангельской губернии началась массовая мобилизация в Красную Армию, причём, не скрывалось, что воевать придётся с недавними союзниками России по Первой Мировой войне: англичанами, французами и американцами. В связи с нежеланием вступать в вооружённые формирования в городе Шенкурске дело дошло до того, что крестьяне, взявшись за оружие, загнали местных коммунистов в здание солдатской казармы, где те, просидев в осаде несколько дней, – сдались.

Когда о случившемся узнали в Архангельске, в Шенкурск был отправлен вооружённый отряд, который возглавил Виноградов как чрезвычайный комиссар губисполкома. Но инцидент к моменту прибытия отряда был практически исчерпан.

Пока Виноградов был в Шенкурске, войска интервентов высадились в Архангельске и, заняв город, начали продвигаться на юг по железной дороге и Северной Двине. Губвоенком Андрей Зенькович пытался организовать оборону на левом берегу Двины возле станции Исакогорка, но погиб прямо на железнодорожном вокзале. Большая часть советских чиновников и комиссаров отходили на пароходах до Котласа, но небольшой отряд был послан в Двинский Березник, где и встретился с бойцами Виноградова.



Павлин Виноградов, 1918 г.

В 1918 году Павлина Виноградова со слов Степана Писахова описал в газетной заметке будущий классик советской литературы – Леонид Леонов. Он пишет:

*«Уехало нас из Пянды лишь пятеро. Четверо из нас решили дальше ехать в лодке и спустились к берегу найти и купить какую-нибудь лодчонку для дальнейшего путешествия в стольный град Архангельск. И в ту же минуту, как они, четверо, обсуждали вопрос, как быть дальше, вынырнула откуда-то моторная лодка с красноармейцами и подошла совсем близко – чуть ли не на 8-10 шагов.*

*Потом в лодке показались люди в солдатских шинелях с пятиугольными красными звёздами на фуражках, с винтовками и без прицела дали залп в стоявших на берегу четырёх безоружных человек. Один из четырёх упал раненый, другой свалился с простреленной головой – пуля вошла в висок и вышла в затылок. Один из оставшихся бросился бежать зигзагами от берега и упал куда-то в ржаное поле и этим спасся от ожидавшей его печальной участи.*

*Впрочем, пуля ему успела немного задеть ногу. Степан Григорьевич повёл раненого к местному священнику. Отец Александр ласково и спокойно,*

*очевидно привыкнув к подобным перепалкам, мягко и любезно принял пришедших, успокоил и видом своим, и своим радушием приёмом и рассказал, что красноармейцы разгневаны на Пянду за то, что крестьяне, не будучи в состоянии далее выдерживать реквизиции, грабежи и поборы, смешанные с хулиганскими выходками со стороны "рабоче-крестьянской" армии, несколько раз сами выступали против державных негодяев и вступали с ними в довольно решительные стычки на Березнике.*

*Отец Александр предложил чай, но мы были принуждены отказаться за поздним временем и пошли обратно домой, в те крестьянские хаты, в которых мы разместились. А к Пянде уже подходила красноармейская дружина, успевшая съездить за подкреплением в Березник, и, воинственно бряцая оружием, опрашивали, где находятся приехавшие недавно люди.*

*Наш дом оцепили вооружённые, и в комнату, где помещались мы, широко размахивая красными руками, вошёл комиссар (фамилия его, как мы после узнали, – Виноградов, один из "архангельских"), постоял в дверях, плюнул в угол, грубо бросил:*

- Здравствуйте, товарищи! – и, несколько меняя тон, свёртывая "цигарку", небрежно заметил, обращаясь к нам:

- Вы чего от берега-то убежали? По какой причине?

Наша хозяйка, сморщенная, седая, но крепкая старушонка, не выдержала.

- Что ты, батюшка, окстись, в живых людей стреляете, а ещё спрашиваешь?

Комиссар самодовольно улыбнулся, сплюнул ещё раз и двинул свою тушу к дверям, вероятно, "углублять революцию" в соседних деревнях, в среде рабочих и крестьян, начинать водворение "большевистского символа веры"...

Осада с дома была снята. И мы были рады, что наконец-то сможем двинуться в дальнейший путь».

Пока союзники и белогвардейцы продвигались по Двине к Котласу, по железной дороге из Москвы в Котлас были направлены артиллерийские орудия и отряд матросов. Но в первые дни августа никаких сил большевиков на пути к Котласу не было. 12 августа Ленин телеграфирует командующему Северным фронтом М.С. Кедрову: «... Организовать защиту Котласа, во что бы то ни стало!»

Когда суда интервентов подошли к Двинскому Березнику, отряд, оставленный там Виноградовым, быстро отступил. От Березника было совсем недалеко до устья реки Ваги, по которой можно было быстро дойти до Шенкурска, а потом до Вельска.

Виноградов берёт на себя командование Котласским районом, вводит военное положение в бассейне Северной Двины и начинает организовывать Северо-Двинскую речную флотилию, для противостояния наступающим силам интервентов и белогвардейцев. В начале августа 1918 года он сумел вооружить только три судна: колёсные пароходы «Богатырь», «Феникс» и «Могучий», на каждом судне было по две 37-ми миллиметровых пушки Маклена и по два пулемёта.

У союзников были суда гораздо мощнее – специальные речные мониторы, хорошо защищённые и с орудиями крупного калибра.

В первых числах сентября 1918 года Виноградов с тремя пароходами «Мурман», «Могучий» и «Любимец» подошёл к Двинскому Березнику, где у берега стояли три парохода интервентов, и стал ходить вдоль берега, обстреливая их из всех своих пушек и пулемётов. Те, после некоторого замешательства ответили. Бой продолжался два часа десять минут, после чего Виноградов ушёл вверх по реке. Один человек был убит, восемь ранено. Какие потери были у интервентов и белогвардейцев неизвестно, возможно и совсем не было.

Тем не менее, противник был несколько ошеломлён, и темп наступления замедлился. Правда, большевики отступили на сорок вёрст, но потом снова пошли вперёд, заняли Яковлевское, Сельцо, Тулгас, и в начале сентября планировали форсировать Вагу, чтобы отбить деревню Усть-Вагу.

8 сентября 1918 года пехота красных заняла деревню Шидрово на правом берегу Ваги, но показался пароход белых, и начал обстреливать деревню.

Из повести Николая Никитина «Северная Аврора»:

*«Орудие осталось без прислуги, искать нового наводчика было некогда, и Павлин сам заменил раненого.*

*Броневой щит орудия несколько закрывал Павлина. Стоя возле прицела и продолговатого прицельного отверстия, Павлин вдруг почувствовал за своей спиной человека. Он оглянулся. Это был Соколов.*

*- Товарищ комбриг, Вас на штабной пункт зовут, – сказал вестовой.*

*- Не мешай! – Крикнув это, Павлин выстрелил. Первый снаряд врезался в среднюю часть парохода, возле колеса, почти у самой ватерлинии. Снарядом разбило палубу. "Отлично!" – сказал себе Павлин и, не меняя прицела, выстрелил ещё раз. Второй снаряд ударил в корму. Раздался новый оглушительный взрыв. Фонтаны воды, пара и дыма взметнулись над рекой.*

*- Тонет! – восторженно закричал кто-то. – Ей-богу, тонет!..*

*Снизу, с береговой тропки, прибежал запыхавшийся и красный от напряжения моряк.*

*- Товарищ комбриг, это "Опыт"... На корме написано!*

*- Снаряды! – коротко приказал Павлин своему заряжающему – юноше лет семнадцати. – Скорей давай!*

*Соседнее орудие тоже ударило по "Опыту", снесло часть надстройки с кормы. Кормовые пушки на "Опыте" замолчали.*

*В это время неподалёку от батарей показалось ещё какое-то судно, Павлин приложил бинокль к глазам.*

*- Английская канонерка! – крикнул он и поискал глазами Саклина. Тот стоял у одного из орудий, показывая бойцам на реку.*

*Павлин решил продолжать стрельбу прямой наводкой. "Подпуцу поближе", – подумал он, снова приставляя к глазам бинокль. Вдруг в стёклах – блеснула какая-то вспышка. Вдалеке будто чиркнули спичкой, и огонёк сразу же задуло ветром. Почти одновременно где-то рядом раздался взрыв. Павлин обернулся и упал. Падая, он успел подумать: "Что такое? Меня ранило? А как же бой?.." Вражеский снаряд ударил в лежащие на берегу бревна. Некоторые из них взлетели в воздух, другие были расколоты в щепы. Осколки снаряда разбились колесо пушки, из которой минуту тому назад стрелял командир бригады. Одним из этих осколков был сражён и Павлин».*

Ну, примерно так, оно и было, я думаю. Правда, где достал Виноградов колёсные 37-мм пушки Маклена, колёса и бронещиты были лишь у пушек, установленных на

пехотный станок. А если пушки были сняты с пароходов, то там они крепились на тумбах к палубе. И к тому же Виноградов был сильно близорук...

Бойцы и командиры флотилии отдали последние почести, гроб с телом Виноградова 9 сентября в Чамово был погружен на борт парохода «Н.В. Гоголь». Капитану был дан приказ следовать в Вологду, но из-за отсутствия вех и бакенов на реке Сухоне приказ был отменён. Гроб сняли с парохода в Котласе, а оттуда отправили по железной дороге в Петроград.



Могила П.Ф. Виноградова. Санкт-Петербург



Памятник П.Ф. Виноградову. Архангельск

14 сентября газета «Правда» сообщила:

*«На Северодвинском направлении артиллерийским снарядом убит беззаветно храбрый командир Н-ского отряда наш дорогой товарищ Павлин Виноградов... Его колоссальной энергии, силе организаторского таланта и отваге мы обязаны тем, что продвижение англо-французов к Котласу было приостановлено после одержанной им победы над превосходящими силами противника в середине августа. С тех пор он со своим отрядом и со своей наскоро импровизированной эскадрой день за днём шёл вперёд,*

*тесня неприятеля. Он, никогда не служивший в войсках, оказался прекрасным военачальником и матросы, и солдаты шли за ним, несмотря на тяжёлую артиллерию противника...»*

17 сентября 1918 года тело Павлина Виноградова был захоронено на территории парка Лесотехнической академии в Петрограде.

Боевые отряды Виноградова влились в 6-ю армию Северного фронта, сформированную в конце сентября 1918 года.

Имя «Павлин Виноградов» дали канонерской лодке «Мурман», которая воевала в составе Северо-Двинской флотилии в 1918-1919 гг., потом этим именем называли только гражданские суда.

Судно «Павлин Виноградов» 1929 года постройки, идя из Портленда в Акутан (Алеутские острова), 23 апреля 1944 года погибло от взрыва мины. Из 42 членов экипажа судно смогли покинуть только 29, из них до берега добралось только девять человек.

После войны в Польше был построен большой лесовоз «Павлин Виноградов», который был приписан к Северному морскому пароходству.

В 1940-м году Березниковский район Архангельской области в честь Павлина Виноградова был переименован в Виноградовский.

В советское время в Архангельске был переименован центральный Троицкий проспект в проспект Павлина Виноградова. А 5 ноября 1960 года на проспекте поставлен бронзовый памятник Виноградову скульптора М.С. Алещенко и архитектора М.Д. Насекина – в кожаной куртке и кожаной кепке с биноклем на груди, маузером на поясе и взглядом, устремлённым вдаль.

В 1967-м году в канун 50-летия Октябрьской революции Гражданскую улицу посёлка Струги Красные переименовали в улицу Павлина Виноградова.

## Сергей Волков



С.Н. Волков

Сергей Николаевич Волков родился 23 августа 1966 года в деревне Щирск Хрединского сельского Совета Стругокрасненского района Псковской области.

С 1973 по 1976 годы учился в начальной школе в д. Щирск, с 1977 учился в Лудонской средней школе, которую окончил в 1981 году, с 1981 по 1984 – учился в Псковском сельскохозяйственном техникуме на отделении механизации. После окончания техникума работал трактористом в колхозе им. Мичурина.

10 февраля 1985 года был отправлен по линии ДОСААФ на обучение в авиаспортклуб города Великие Луки.

В Вооружённые силы СССР Сергей Волков призван 20 апреля 1985 года Стругокрасненским ОРВК. В период с апреля по август 1985 проходил службу в учебной части в городе Фергана.

С сентября 1985 года служил в составе контингента советских войск в республике Афганистан. Рядовой, старший стрелок

мотострелковой роты 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (войсковая часть 71176), которая располагалась в провинции Кандагар на юге Афганистана.

12 сентября 1985 года командование бригады получило информацию о том, что около полутора тысяч душманов должны пересечь Афгано-Пакистанскую границу. Подразделение, в котором служил Сергей, было брошено на перехват душманов. Десантировались группами по 8 человек – два офицера и 6 солдат. После десантирования завязался бой. Командир группы, в которую входил Волков, видя, что силы не равны, запросил помощи у командования, но первый вертолёт, высланный на помощь, был сбит душманами, а второй не смог преодолеть их заградительного огня. В завязавшемся бою Сергей действовал смело и решительно.

Командир группы наших воинов, предвидя исход боя с приблизившимся вплотную противником, вызывает на себя артиллерийский и миномётный огонь. Огонь был открыт. И только после этого к группе смогли пробиться другие десантники. Все восемь человек группы, в которую входил Сергей Волков, погибли. Сергей был обнаружен с восьмью пулевыми ранениями, от которых и скончался.

В этом жестоком бою было уничтожено около 500 душманов. Банда была разгромлена и не смогла пересечь границу.



За мужество и героизм, проявленные в борьбе с бандами душманов, за честное выполнение интернационального долга указом Президиума Верховного Совета СССР № 4116-ХІ от 5 февраля 1986 года Сергей Волков посмертно награждён орденом Красной Звезды (№ 3686518).

Похоронен Сергей Волков на гражданском кладбище в деревне Велени Хрединской волости Струго-Красненского района.

В честь Сергея Волкова названы улицы в посёлке Струги Красные и в деревне Лудони, в Лудонской средней школе открыта постоянная экспозиция, посвящённая герою.

### Василий Егоров



В.Е. Егоров

Василий Егорович Егоров родился на территории современного Островского района Псковской области в 1916 году, получил начальное образование, работал в городе Острове пожарным, маляром, а перед Великой Отечественной войной устроился печатником островской типографии. В семье Василия Егоровича и его супруги Евгении Константиновны росли дети Нина и Владимир.

Лучше чем сам Василий Егорович о своей биографии не может сказать никто, приведём диалог Егорова и редактора партизанской газеты Константина Обжигалина:

- *Сын собственных родителей, образца 1916 года. Родился по собственному желанию, умру по сокращению штата. Как родился – не помню, как крестился – совсем забыл. С*

*двух месяцев начал изучать азбуку. Сперва называл букву «у», потом «а». Служил в пехоте. Ездил на своей родной паре. Две ляжки в пристяжке, сам в корню.*

*- Постой, а какое у тебя образование? – спросил Обжигалин.*

*- Семилетка. Три года в первом классе и четыре во втором, – бойко отвечал Толчишкин.*

*- Да ты говори толком!*

- Толком не умею. Когда я родился, сказали, что из меня толк выйдет. Так и случилось: толк весь вышел, а бестолочь осталась. И получился – Толчишкин.

Даже на вопрос – какую оценку получала его работа до войны, – Вася ответил по-своему. Он рассказал, как заведующий издательством выдал ему однажды отрицательную характеристику. «Невыдержан, не прочь вступить в пререкания со старшими», – писал он. В тот же день в издательстве появилась набранная типографским способом характеристика на самого заведующего. В ней говорилось: «Выдвинут по недоразумению, с работой не справляется, любит выпить...» Внизу стояла треугольная печать: «Рабочий коллектив».

- Ну и что же? – спросил Обжигалин.

- За грубость попало. Но характеристику мне выдали другую, а заведующего сняли с работы.

Про собственное прозвище или вторую фамилию – Толчишкин, необходимо остановиться подробнее. Откуда и по какой причине она взялась достоверно неизвестно, но Егоров просил называть себя именно Толчишкиным. Известный псковский писатель, а в годы Великой Отечественной войны – журналист партизанской газеты Иван Васильевич Виноградов писал об этом так:

«Рядовую» фамилию – Егоров, которая, по мнению Васи, не соответствовала его натуре, он заменил более подходящей.

- По возможности прошу не называть меня Егоровым, – сказал однажды Вася. – Я дал себе другую фамилию – Толчишкин.

Тут же Вася поведал нам историю своей второй фамилии и воинского звания. С первых дней войны Егоров находился в рядах Красной Армии. Часть в которой он состоял, попала в окружение. Лесами и болотами пришлось выходить к своим. Но свои уже отступили. Солдаты не знали, что делать дальше: одни считали – надо пробиваться через фронт, другие готовы были притаиться в деревне и выжидать, что будет. Надо было положить конец разногласиям. Вася взял командование на себя. Он собрал группу и объявил:

«Я капитан. Фамилия моя Толчишкин. Прошу любить и жаловать. А главное – слушаться. Предупреждаю: за неподчинение буду расстреливать. Ясно? А сейчас приказываю выходить к партизанам. Надо искать их в лесах. Не найдём – будем действовать самостоятельно».

Порядок был восстановлен. Солдаты охотно козыряли Василию и чётко выполняли его приказания. Так и пришли они в полном составе в партизанский отряд. Тут только Вася признался своим друзьям:

«Прошу прощения, допустил маленькую неточность в биографии. Звание моё – рядовой, гражданская фамилия – Егоров. Но звать можете Толчишкиным. Не возражаю».

*Вот таким образом Василий Егорович и попал в партизаны, храбро воевал в составе Второй Ленинградской Партизанской бригады.*

*«О своих партизанских делах Толчишкин говорил сдержанно. Он не коснулся [в разговоре с Обжигалиным] многих смелых операций, в которых участвовал, находясь в отряде имени Красавина, но зато не преминул остановиться на таком частном случае.*

*В деревню, где стояли партизаны, пришёл нарочный с приказом военного коменданта. Приказ был строгий: «Ваша деревня вчера не выставила подводы для ремонта дороги. Приказываю сегодня же выделить нужное количество лошадей и людей!» Нарочный вернулся ни с чем. «Как? Опять без лошадей?» – закричал на него комендант. Тот протянул свёрнутую вчетверо бумажку. Комендант прочёл: «Приказ ваш получил. Крайне удивлён. Я не ожидал, что вы ещё живы. Значит, кто-то из моих подчинённых работает плохо. А лошадей вы не получите. Вчера они были заняты, перевозили боеприпасы и продукты для партизан. Сегодня лошади тоже будут не свободны. На одной я поеду в соседний отряд, а на другой пришлю вам человека, который оторвёт вам голову. Ненавидящий вас, партизан Толчишкин».*

Иван Васильевич Виноградов познакомился с Егоровым в 1942 году, вот как он его характеризовал:

*«Это светловолосый парень с мягкими чертами лица, с весёлыми, как у девушки, ямками на щеках... В нём было заключено столько жизнерадостности и бодрости, что её хватило бы на добрый десяток людей. Весь он, казалось, был соткан из веселья и юмора.*

*...Он остряк и балагур, не теряющий бодрости духа ни при каких обстоятельствах...»*

В 1942 году на обширной территории современных Дновского, Дедовичского и Бежаницкого районов современной Псковской области и новгородчины организовался партизанский край Второй Ленинградской Партизанской бригады. Партизаны уверенно контролировали территорию, установили советскую власть, оберегали местное население, а также уничтожали местные карательные гарнизоны, совершали налёты на немецкие укрепления, проводили диверсии на железных и автомобильных дорогах. В 1942-м году силами местного населения партизанского края и прилегающих деревень был организован обоз с продовольствием для жителей блокадного Ленинграда.

В партизанском крае не хватало только собственного печатного органа. Обжигалин пишет:

*«Вскоре в наш Серболовский лесной лагерь привезли типографское оборудование. Нас с Иваном Васильевичем Виноградовым вызвал начальник политотдела бригады, где и были сразу решены основные организационные вопросы.*

*Газеты мы называли так: «Народный мститель» – для партизан и «Коммуна» — для населения Партизанского края. Был решён и вопрос о «штатах», штат — это мы вдвоём с Виноградовым.*

Оставалось найти наборщика и печатника. Наборщика — Андрея Усенко — мы нашли довольно быстро. С печатником обстояло труднее. Дело в том, что нужен был большой мастер и физически крепкий человек, способный орудовать чуть ли не пудовым прессом. Ему предстояло, прежде всего, собрать нашу «Бостонку», а после, при необходимости, и отремонтировать машину. К счастью, такой печатник-универсал нашёлся. Им стал бывший работник Островской типографии Василий Егоров, имевший псевдоним — Толчишкин. Егоров-Толчишкин собрал «Бостонку». Забегая вперёд, скажу, что Толчишкин-печатник ни разу не задержал выхода газеты, хотя случалось, что машина капризничала. Тогда Толчишкин-слесарь часами возился с ней или ночью отправлялся в ближайшую колхозную кузницу, чтобы что-то склепать или отковать. Если требовалось что-либо «пробить» для типографии, он становился Толчишкиным-директором. Ко всему Толчишкин являлся ещё и корреспондентом газеты «Народный мститель». Это был весёлый и находчивый человек, отважный боец. Если его не пускали на задание — обижался:

- Я пошёл в партизаны воевать с захватчиками, а не с капризами списанной с баланса машины.

- Но ты сам хотел печатать,— напоминали мы ему.

- Только по совместительству... — отвечал Егоров.

В печатной машине, которую доставили нам с Большой земли, не хватало каких-то болтов. Егоров отправился в деревню добывать их. Вечером мы застали его в землянке. Он лежал на нарах в странной позе: голова была внизу, а ноги покоились на чём-то подобном соломенной подушке. Такой вид, конечно, вызвал наше недоумение.

- Целый день бегал, ничего не достал, — объяснил Вася. — Вот и лёг так: ноги на подушку, голову на пол. Ноги устали — пусть отдохнут. А голове наказание, чтобы лучше соображала».

Виноградов пишет:

«Удивительный он был парень. Работяга отменный. Готов трудиться днём и ночью. Да ещё в такой сложной обстановке! Сырая, неудобная землянка. Холодный свинец обжигает руки. Краска стынет, поминутно надо разогревать. Валики печатной машины обмыть нечем, промыть шрифт тоже. Света нормального нет: то копилка, то фонарь «летучая мышь», а то и просто лучина. А тут ещё нехватка заключниц — свёрстанную полосу нечем закрепить. Да и всю ночь двигать руками пудовый пресс «бостонки» тоже ведь нелегко. Скинет Вася пиджак, расстегнёт гимнастёрку. Мягкое словно припухшее лицо покрывается потом, волосы спадают на лоб, из-под рыжеватых выцветших бровей весело сверкают голубые глаза.

Усталости Егоров не знал. И мрачным мы его не видели. Всегда бодрый, весёлый, жизнерадостный, неугомонный. Весь в движении, словно ему энергии девать было некуда.

*Уныния не было и тени. Живое чувство юмора никогда не покидало его. Оно было написано даже на лице: его подвижные пухлые губы, казалось, всегда чуть-чуть шевелились, с них в любую секунду готова была сорваться шутка.*

*Чудачества Васи не позволяли поселиться в нашей землянке скуке или растерянности. Видно не зря говорят в народе: шутка – минутка, а заряжает на час.*

*Что ещё любил Вася – так это концерты. Как только выкроится свободная минута, берёт в руки балалайку или баян и потешает нас песнями, частушками, сатирическими сценками.*

*Каждый отряд обычно имел своего весельчака. Но Вася превзошёл всех. Если бы было устроено состязание партизанских юмористов, то Егоров наверняка занял бы первое место».*

Над землянкой партизанских печатников красовалась надпись:

«Образцовая типография имени Толчишкина».

Но в августе 1942 года в связи с изменением обстановки и смены места дислокации партизанской бригады Егорову пришлось зарыть в землю печатную машину, шрифт и другое типографское оборудование, а также некоторые документы о партизанской борьбе.

2-я Ленинградская партизанская бригада в мае 1943 года вступила на территорию современного Струго-Красненского района.

Василий Егорович Егоров, помощник командира группы 2-й Ленинградской партизанской бригады погиб 22 августа 1943 года. Обстоятельства гибели Василия Егорова описаны в дневнике руководителя Полновской оргтройки Екатерины Мартыновны Петровой: *«Вечер. Стрельба в деревне Подол. Прибежал Блистовский: немцы! Наши шли на заготовки через Подол. Только вышли из деревни, спустились под гору, фашисты открыли стрельбу по нашим. Убит Вася Егоров (Толчишкин) и Сергеев, ранено три бойца. Егорову было дано задание заготовить зерно. За одни сутки он заготовил 120 пудов хлеба. Но сегодня он погиб. Очень жаль этих товарищей...».* На следующий день Екатерина Мартыновна записала: *«Сегодня хоронили погибших. Выступили: я, Светлов, Иванов И.Т. (командир отряда №31), командир роты Щёркин, политрук Некрасов В.П., заместитель начальника полковой разведки Яковенко и командир полка Синельников Н.И. Можно было судить по лицам, как дороги были эти товарищи всем...»*

После окончания Великой Отечественной войны одиночные могилы партизан были перезахоронены в братскую могилу в д. Творожково, где сейчас и покоятся останки Василия Егорова.

\*\*\*

В период с 1981 по 1983 год в район бывшего партизанского лагеря на поиски типографии было организовано шесть экспедиций под руководством И.В. Виноградова, в результате было обнаружено место расположения зимнего лагеря, место, где находилась

типография и часть шрифта. Сама печатная машина не была тогда найдена, так как Егорова и его товарища, которые закапывали ночью типографию уже не было в живых.



Печатная машина «Бостонка» на которой работал В.Е. Егоров

Прошло более 20 лет с момента начала поисков партизанской типографии и более 65-ти лет с момента, когда её спрятали. И вот в конце 2008 года из Дедовичей пришла весть о том, что печатную машину «Образцовой типографии имени Толчишкина» нашли поисковики из отряда «Бригада-60».

– *Типографию мы нашли в чаще, на болотном лесистом острове,* – рассказал командир поискового отряда Александр Грабчук.

– *Печатная машина была в металлической бочке, сверху закрыта крышкой и присыпана землёй. Все части типографии находились в разобранном*

*виде, поэтому мы никому не стали сообщать о своей находке, пока полностью не убедились, что же это такое.*

Поисковики бережно вывезли по частям партизанскую святыню на самоходном самодельном вездеходе и уже в Дедовичах полтора месяца чистили от ржавчины, мыли в солярке, красили и колдовали над сборкой. В итоге перед ними предстала «Бостонка». Принадлежность машины удалось установить по фотографиям, вытасканным умельцами из сети интернет. Сегодня машина практически в идеальном состоянии, нет только резиновых валиков – истлели, шрифта – он был обнаружен 25 лет назад порховичами, ну и, как водится на Руси, «лишними» оказалась ещё пара-тройка деталей. Вместе с машиной сохранились и сопутствующие инструменты печатника: от шила и щётки до деревянного молотка. Да, некоторые детали были самодельные, видно, что партизаны мастерили их из подручных материалов. В углах станины обнаружены обрывки спрессованной газетной бумаги. Сама бочка, в которой хранилась печатная машина, ещё находится в земле и наполовину залита водой.

Вот так спустя 65 с лишним лет возвращаются к нам вещи, судьба которых неразрывно связана с судьбами людей – с героической историей нашего Отечества.

## Тамара Ершова

Тамара Алексеевна Ершова родилась 23 октября 1926 года в деревне Яблонец Стругокрасненского района, была старшим ребёнком в семье Алексея Михайловича и Пелагии Владимировны Ершовых. Кроме Тамары в семье подрастали ещё две младших сестры. С 1934-го года училась в школе в д. Яблонец, окончила 4 класса.

После того как отец – Алексей Михайлович, который работал электриком в Кировском театре Ленинграда, вернулся на родину и устроился на работу в артель «Заря», семья Ершовых стала проживать в посёлке Струги Красные на улице Советской в доме 83. С 5-го класса училась Тамара в Стругокрасненской школе и в 1941 году окончила седьмой класс. Училась Тамара на отлично, в 1941-м году она дважды перенесла воспаление лёгких и экзамены по причине болезни сдать не могла, но, несмотря на это, учителями были выставлены отличные отметки.



Т.А. Ершова

Великая Отечественная война застала Тамару в санатории под городом Сольцы, где она лечилась во время летних каникул после перенесённого воспаления лёгких. Тамара приехала домой в Струги.

*«Была она маленькая хрупкая девушка с серьёзными глазами. Походка такая плавная, словно она не шла, а плыла по воздуху. Была хороша и лицом и душой»,* – вспоминала о Тамаре её сестра.

В первые месяцы оккупации пришлось работать в артели «Заря», а в 1942-м году Тамара поступила на курсы землеустроителей при лесхозе, так как данная работа давала право на передвижение по оккупированной территории.

В июне 1943 года Тамара наладила связь с разведчиками Второй Ленинградской Партизанской бригады, которые тогда располагались в районе деревень Страшево, Машутино и Прусси. Тамара с подружками выполняла различные поручения, копировала карты, передавала сведения, следила за движением поездов, автоколонн, вела работу по вербовке молодёжи.

Тамара была посвящена в планы боевых операций

партизан, она передала план ремонтной мастерской и предупредила отца, работавшего в артели «Заря» о готовящемся подрыве электростанции и ремонтной мастерской для немецких автомобилей на её территории.

В ночь с 28 на 29 сентября 1943 года, благодаря точному плану расположения объектов артели «Заря», предоставленному Тамарой Ершовой, группа бывших полицейских во главе с В. Стрункиным (Станкиным) подорвала дизельную электростанцию и совершила поджог ремонтных автомастерских. После этой диверсии 35 полицейских из Струг Красных перешли на сторону партизан.

Также в конце сентября 1943 года семья Ершовых по указанию партизан выехала из Струг Красных в партизанский край – в деревню Бельско, Тамару оставили в бригадной разведке под командованием В.В. Смирнова, отец – Алексей Михайлович также воевал в составе Второй Ленинградской Партизанской бригады. После ухода семьи к партизанам, каратели сожгли дом Ершовых в Стругах Красных.

В штаб бригады Тамара приносила сведения о противнике, приводила связных на явки и молодёжь в партизаны, все донесения она подписывала псевдонимом «Захаров». В сентябре 1943 года по указанию Ершовой партизаны сожгли фураж, сельскохозяйственные машины, трактор и различное имущество, приготовленное для отправки в Германию из деревни Бровск.

В октябре 1943-го Тамара освободила из-под ареста и привела в бригаду захваченных немцами девушек Мосину и Аксёнову. От начальника гражданской комендатуры Быкова, Ершова доставила в штаб бригады карту обороны посёлка Струги Красные и схему расположения частей гарнизона, список служащих комендатуры и другие важные документы.



Место расстрела Т.А. Ершовой.  
Ул. Хуторская



Могила Т.А. Ершовой



В декабре 1943 года вместе с партизаном Александром Ильиным, Тамара отправилась в Струги Красные, 18-го декабря она должна была вернуться, но... не вернулась.

Тамара полностью выполнила задание и на обратном пути зашла к знакомой семье Николаевых, живших на улице Болотной. Именно там она вместе с хозяевами была схвачена гестаповцами.

В застенках гестапо схваченных долго пытали, но никакой информации о партизанах и подпольщиках не получили. Ильин, Ершова и семья Николаевых были приговорены к расстрелу.

По дороге на расстрел Тамара пела «Катюшу». 27 декабря 1943 года партизана Александра Ильина, Николая Николаева, его жену Николаеву Юлию Владимировну, дочь Николаеву Зинаиду Николаевну и партизанку-разведчицу Ершову Тамару Алексеевну расстреляли на берегу Генеральского озера.

В 1944-м году прах Тамары Ершовой был перенесён на старое гражданское кладбище.

А в 1965-м году улица Скотобойная в посёлке Струги Красные была переименована в улицу Тамары Ершовой.

### **Николай Кудрявцев**



Н.Ф. Кудрявцев

Николай Фролович Кудрявцев родился в ноябре 1896 года в семье крестьянина села Никифорова Никифоровской волости Устюженского уезда Череповецкой губернии. Образование получил в Никифоровской школе.

В 1914-м году работал плотником в Ярославской губернии, в начале 1915 года работал в Петербурге. В августе 1915 года Кудрявцев мобилизован в армию и отправлен на германский фронт около Карпат. Был демобилизован в 1918 году, в сентябре того же года вступил в Устюженскую уездную организацию РКП(б) и был назначен политическим комиссаром почты в г. Устюжне.

2 ноября 1918 года Кудрявцев был мобилизован в ряды Красной Армии, отправлен в Петербург и назначен на должность взводного командира 1-го стрелкового

полка 1-й дивизии, также он исполнял обязанности ответственного организатора коллектива РКП(б) полка, заведующего школой грамоты полка. Также Кудрявцев был избран членом Петроградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

В марте 1919 года 1-я дивизия была отправлена на Северо-Западный фронт для борьбы с белой армией генерала Н.Н. Юденича. В июне 1919 года вследствие предательства офицерского состава, Кудрявцев вместе с другими красноармейцами попал в плен и был расстрелян на станции Струги-Белые.

### **Пётр Ленков**



П.Н. Ленков

Пётр Николаевич Ленков родился в 1912-м году в Курганской области и жил до войны в Мехонском районе, у него была сестра Зоя и брат Всеволод. Он был женат на Ленковой Анастасии Григорьевне.

В июне 1941 года был призван Каргопольским РВК Курганской области в Красную Армию. Последнее письмо из армии было получено родными 16 июня 1942 года (ППС 557 сектор 85 подразделение 2), вскоре после этого письма пришло извещение о том, что красноармеец Ленков пропал без вести.

И только после окончания войны, бывшие партизаны его отряда, сообщили родным, что Ленков погиб в январе 1944 года.

Видимо во второй половине 1942 года Пётр Николаевич влился в ряды партизанского движения. В октябре 1943-го в деревне Волково Плюсского района он был назначен командиром 3-го отряда 6-й Ленинградской партизанской бригады. В период боевых действий на территории Плюсского и Лужского районов

он показал себя смелым и решительным командиром.

В период с октября 1943 по январь 1944 годов партизаны 6-й ЛПБ вели активные боевые действия, направленные на подрыв внутренних коммуникаций противника, отвлечение крупных сил от боевых действий в районе Ленинграда. И эти задачи были успешно выполнены партизанами. Силами партизан было осуществлено множество диверсий по подрыву железнодорожного полотна, автомобильных дорог, проводились нападения на расположения немецких гарнизонов и штабов, проводилась работа по уничтожению продовольственных, фуражных и иных запасов для вермахта. Местное

население бралось под охрану партизан, вновь создавались органы местного самоуправления, организовывались партизанские «республики» и «районы». Большие силы немецких войск были отвлечены на подавление действий партизан, тыловое снабжение частей, ведущих боевые действия под Ленинградом, становилось нерегулярным из-за диверсий. Все эти действия партизанских формирований и успешное развитие наступления Красной Армии в конечном итоге привело к полному снятию блокады Ленинграда и освобождению Ленинградской области от фашистов.

Бывший командир взвода разведки В. Марков так отзывался о Ленкове: *«Человеком он был справедливым, требовательным и смелым. Для подчинённых он был как отец родной. ...Поведение его было очень скромным. Не искал себе привилегий ни в питании, ни в обслуживании».*

Именно благодаря В. Маркову мы имеем возможность узнать о последнем бое Петра Ленкова.



Бойцы и командиры 3-го партизанского отряда 6-й ЛПБ

Утром 18 января 1944 года 3-й отряд 6-й Ленинградской партизанской бригады в количестве 240 человек вышел из деревни Бежаны Лужского района на задание по подрыву Варшавской железной дороги между станциями Мшинская и Низовская.

Вечером 19 января успешно пересекли шоссе Ленинград – Луга и в полночь подорвали железнодорожное полотно на протяжении двух километров.



Братская могила на ст. Мшинская командира отряда Петра Ленкова. Сзади с шоссе слышался звук приближающейся колонны автомашин и, в целях недопущения окружения отряда, было принято решение быстро отходить по новому маршруту, прокладываемому в глубоком снегу в обход.

Прибыв в расположение отряда в деревню Бежаны, была создана команда из 50-ти человек с тремя подводами и отправлена для захоронения убитых товарищей, но данная команда трупы не обнаружила.

После гибели командира, 3-му партизанскому отряду 6-й ЛПБ было присвоено имя Петра Ленкова.

В апреле 1944 года жители деревни Сорочкино Лужского района при заготовке дров в лесу обнаружили трупы семи партизан, среди которых была одна девушка, и захоронили их на месте обнаружения, начальная Сорочкинская школа стала следить за данной могилой.

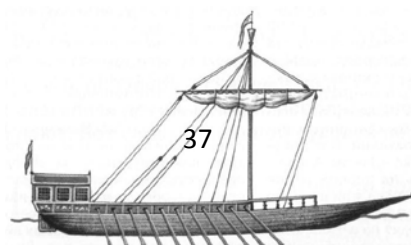
В 1968-м году участник боя у станции Мшинская бывший командир взвода разведки 3-го партизанского отряда В. Марков встретился с жителями д. Сорочкино, которые проводили захоронение и они опознали командира отряда П.Н. Ленкова по мощной фигуре. После переписки с Лужским РВК и заметки в газете «Ленинградская правда», захороненные в могиле были признаны бойцами 3-го партизанского отряда 6-й ЛПБ, погибшими 20 января 1944 года.

13 июля 1969 года останки семи партизан были перенесены и перезахоронены на станции Мшинская Лужского района в братскую могилу, где были уже захоронены бойцы Красной Армии, погибшие при освобождении станции Мшинской.

*Алексей Фёдоров, 2013*

Источники:

1. Справка ЦГАИПД №431-437 Б от 29.11.2011.
2. Виноградов И.В. Герои и судьбы.- Л.: Лениздат, 1988.
3. Виноградов И.В. Дорога через фронт (записки партизана).- Л.: Лениздат, 1964.
4. Евдокимов И. Павлин Виноградов. Эпизоды борьбы против интервентов и белогвардейцев на Севере в 1918 году. Военно-морское издательство военно-морского министерства Союза ССР, М., 1950.
5. Коновалов В.А. Павлин Виноградов. Воениздат, М., 1955.
6. Копылов А. Павлин Виноградов, Гос. изд. полит. литературы, М., 1959.
7. Никитин Н. Северная Аврора. Воениздат, М., 1951.
8. Овсянкин Е.И. Имена архангельских улиц (изд. 4-е, испр. и дополн.) – Архангельск: ЗАО «Архконсалт», 2008.
9. Остров Розовый в море Белом: Ист.-краев. сб. (Сост.: А.С. Бобрецов, В.Ф. Кологриев). – Северодвинск, МП «Звёздочка», 1992.
10. Памятник борцам пролетарской революции. – М-Л., 1924.
11. Обжигалин К. Печать Партизанского края// Псковщина партизанская. –Л.: Лениздат, 1979.
12. Архипов Д.С. Улицы посёлка// За коммунизм. – 1976. – №93.
13. Белгорай Д. Павлин Виноградов// За коммунизм. – 1978. – № 133.
14. Виноградов И. «Звать можете Толчишкиным...»// За коммунизм. – 02.06.1987.
15. Иванов С. Сильная духом// За коммунизм. – 09.05.1978.
16. Ржавин И. В Солзской бухте// За коммунизм. – 1966. – №14.
17. Ржавин И. Тревожные будни// За коммунизм. – 1966. – №4.
18. Ржавин И. Эшелоны идут в Петроград// За коммунизм. – 1965. – №154.
19. Смирнов В. Девушка из деревни Яблонец// За коммунизм. – 08.12.1970.
20. Соболев И. Комсомол будет жить// Молодой Ленинец. – 1964. – №118.
21. Хохлов А. Его расстреляли в Стругах// За коммунизм. – 1967. – №68.
22. Газета Курьерь. <http://courier-pskov.ru/obetom/1180-v-partizanskom-krae-nashli-rabochuju.html>



**Филинова Наталья Викторовна**  
**Воспоминания учителя-ветерана, малолетней узницы концлагеря**  
**Зайцевой Тамары Александровны<sup>1</sup>**



Я, моя сестра Нина, папа и мама до войны жили в совхозе «Авангард», который находился рядом со станцией Струги Красные ныне Псковской области. Папа работал в совхозе бухгалтером, а мама продавцом готовой одежды на станции. Была у нас няня. Семья жила в достатке. Родители держали кур, уток, гусей, коз, молоко которых было специально для меня и сестрѐнки. Мы с ребятами любили играть в песочнице, строили замки с башнями, крепости. А больше всех мы любили Красную Армию. Пели военные песни: «Дан приказ ему на запад», о Щорсе, особенно любили песню «Катюша», где пелось о пограничниках. Хором повторяли стихотворение: «Климу Ворошилову Письмо я написал: «Товарищ Ворошилов, Народный комиссар! В Красную Армию Нынешний год, В Красную Армию Брат мой идёт! Товарищ Ворошилов, Поверь, ты будешь рад, Когда к тебе на службу Придёт мой старший брат!» Мальчишки тренировались, получали значки ГТО (готов к труду и обороне), учились стрелять, и получали значок «Ворошиловский стрелок». А мы, кто был поменьше, играли в военные игры. Недалеко от дома рос кустарник. Там у нас был штаб. Я была санитаркой. В папиной пилотке, с полевой сумкой через плечо (это папины вещи с финской войны) я прибегала в штаб. Было мне лет восемь тогда. Приходили другие ребята. Мы брали длинные палки (это у нас были кони) и мчались на них по совхозной ржи, представляя собой конницу. Совхозный объездчик жаловался маме, что мы потопчем рожь. Старушки говорили, что не к добру, что дети так играют в войну. Быть беде. Мы с сестренкой бегали встречать папу с работы. А он сажал меня на одну руку, а сестрѐнку на другую и нѐс нас домой. Хорошая была жизнь!

---

<sup>1</sup> Печатается с интернет-ресурса: <http://pedagog2010.lokos.net/article/proekt-k-godu-uchitelya-voina-v-sudbakh-lyudei-vospominaniya-uchitelya-veterana-maloletnei-u>

Потом папу призвали в армию. (Тогда была напряжённая обстановка с Финляндией, хотя война была закончена). Это было зимой, а летом в июне началась война с Германией. Объявили об этом по радио в четыре часа утра. Но дети ещё спали. Около 10 часов утра мы с сестрёнкой вышли на крыльцо. День был ясный, яркое светило солнышко. Мальчишки из соседнего дома закричали нам, что началась война. Мы не поняли серьёзность этого события. Оседлали своих «коней» и с криком «Ура!» помчались вскачь. Через несколько дней в небе летали низко самолёты и сбрасывали тюки с серебристыми лентами, (я не знаю, что это было) и в воздухе пахло неприятным запахом. Прибежала с работы мама и сказала, что нужно собрать в чемоданы самые необходимые вещи. Обещали нас эвакуировать с этого места.



Нина и Тамара с отцом

Через станцию Струги Красные военные эшелоны шли на фронт. На станции горели склады с продовольствием, магазины, государственные учреждения. Нечем было дышать от гари и дыма. Далеко было видно зарево. Много сгорело домов. Вскоре жители решили, что нужно из домов уйти в лес, там безопаснее. В лесу мы жили в шалаше, взяв чемоданы с вещами и продукты. Мальчишки нас, ребят, позвали на окраину леса. Там мы залегли на землю и стали наблюдать, что происходит около наших домов. И вот подъехали две машины с солдатами в синих комбинезонах (говорят, что это были финны). Они выгрузились из машин и побежали в дома, в сарай, где были животные. Переловили у нас кур, гусей и уток, и уехали.

Через день понаехало много машин с немецкими солдатами. У нас в комнате поселились солдаты (около 12 человек), а в двух других комнатах жили мы. Мы с сестрёнкой и мамой сидели в задней комнате и не выходили на улицу. Вдруг к нам зашёл пожилой немецкий солдат. Он осмотрелся кругом и увидел на комодe фотографию (где папа в военной форме и мы с сестрёнкой стоим на стульчиках). Солдат как закричит: «Вег! Вег! Пу! Пу! Пу!» - и показывает на нас пальцем. Это значит, чтобы мы убрали фотографию, а то нас расстреляют, так как папа - командир Красной Армии. Мама наша

знала немецкий и французский языки. И солдат сказал ей, что он не фашист и у него дома тоже две дочки. Немцы в нашем доме недолго простояли. Они стали селиться в больших домах, клубах, вокруг которых делали изгороди из наших русских берёзок, делали скамейки, домики на площадке, а мы, ребятишки, бегали смотреть, как красиво, а близко подходить боялись.

Помню, как мы с ребятами в первые дни войны побежали смотреть, как шли колонной наши военнопленные. Немецкие солдаты с овчарками охраняли их. Почти все наши военнопленные были ранены. У кого перевязана голова, рука, нога, грудь. Бинты грязные окровавленные. Никто их не перевязывал. Командиров среди них не было, так как их сразу расстреливали. Военнопленных загнали в пустые совхозные свинарники, которые обнесли забором и колючей проволокой. О дальнейшей судьбе пленных я не знаю.

Для нас началась новая жизнь. На станции фашисты стали наводить свои порядки. В большом доме была комендатура во главе с комендантом (хозяином станции). Полицейские из русских следили за порядком. Были построены виселицы, где вешали людей за провинность, особенно за помощь партизанам. Всех сгоняли смотреть на это ужасное зрелище. Появились среди своих предатели. Так выдали мамину подругу и её двоих детей за то, что её муж командир Красной Армии. Заставили её вырыть могилу, на глазах убили детей и сбросили их в яму, а потом её расстреляли. Мама пришла домой и плакала. У жены маминого брата её родной брат ушёл в партизаны. Выдали. Ночью в дом ворвались немецкие солдаты и расстреляли маминого брата и его жену (на братской могиле в Стругах Красных высечены их имена). Устраивали облавы на людей, загоняли в товарные вагоны и отправляли на работу в Германию. Под такую облаву попали мама и сестра с дочкой. Людей в товарном вагоне закрыли снаружи. А в это время налетели на станцию наши самолёты и стали сбрасывать бомбы. Вагоны загорелись, людям было не выйти. В вагоне сверху были маленькие оконца, взрослые через них выталкивали своих детей. Так была спасена моя двоюродная сестрёнка, а тётя сгорела в вагоне.

Недалеко от нас росли сосновые деревья. Над ними кружило много ворон. Немецкие солдаты стреляли в них. Пулей, попавшей в окно, убило мою подружку. И никто за это не был наказан, не к кому было обратиться. В сентябре я пошла в школу в первый класс. Нас учили читать, считать, писать, немецкому языку и закону божьему. Взрослым и детям выдавали по карточкам по 100 грамм хлеба на день. За хлебом ходила я. Пока идёшь домой, отщипываешь понемногу от буханки корочку сбоку и сосёшь её, как конфету. Однажды мама пришла домой от соседей и сказала, что принесла нам гостинец. Мы открыли бумажку, а там лежало десять сухих хлебных корочек. Мама сказала, чтобы ели



по две корочки в день. Нам хотелось есть постоянно, особенно летом в начале войны, пока не стали поспевать овощи в огородах (овощи у родителей были посажены весной до войны).

Зимой всех женщин и маму обязали ходить на станцию и разгребать снег на железнодорожном полотне, а я с сестрёнкой оставались дома. Мама наварит нам чугунок картошки, растолчёт её, выложит на красивую тарелку и поставит на стол с красивой скатертью, а рядом блюдо с белой и красной свёклой, вырезанной в виде звёздочек, ромбиков, ромашек красиво уложенных горкой. (Это блюдо и сахаром и печеньем было для нас). Кушаешь эту еду, живот становится большим, а есть всё равно хочется.

Если заболел – лечись сам дома, лекарств не было. Я серпом порезала два пальца. Прикладывала к ранам листья подорожника. Ничего не помогало. Боль была невыносимая. В немецкой комендатуре был врач – Карл Иванович (эстонец по национальности). Он тайно помогал русским. Мы с бабушкой пошли к нему. Бабушка взяла три десятка яиц с собой. Нас провели к доктору, сделали перевязку и дали мазь с собой. За это мы оставили доктору яйца. А он сказал: «Бабка, твоей девочке надо по одному месту шлёпать, чтобы не баловала с серпом».

Мыла совсем не было. Мылись щёлоком. Брала большой чугунок, насыпали туда золу, заливали горячей водой, а потом отстоявшуюся сверху жидкость по ковшику наливали в таз с водой и мылись. Дядя мой варил мыло, получались такие чёрные вонючие куски. Завелись вши, но не такие, что в голове живут, а большие бельевые, которые были в одежде около швов и страшно кусались.

От фронта двигались люди. Их называли беженцами. Они просились на ночлег. У соседей на ночлег остановилась семья, заражённая сыпным тифом, который передаётся через кровь при укусе вшей. Это страшная смертельная болезнь. Вши переползли к хозяевам. Они заболели и умерли. Жители окраин станции и близлежащих деревень помогали партизанам, давали овощи, картошку. Немцы узнали об этом и всех стали выселять из своих домов в центр. Мы поселились в чужом доме. Там было две комнаты, в большой проходной жили немцы, у них была настелена солома на полу, где они спали. Днём солдаты уходили, а вечером возвращались. А в дальней маленькой спальне жили мы с мамой и сестрой. Выход из неё был через их комнату. А в углу сидела большая немецкая овчарка. Звали её Рольф. Я соберусь идти на улицу, подойду к выходу, а собака сзади за платок меня назад в комнату тащит. Сколько я её не просила, всё было бесполезно. Впускать в дом – впускала, а выпускать никого не хотела. А сестрёнка боялась выходить из комнаты. Так весь день и сидела на кровати, пока не возвращалась мама.



Тамара с отцом

Немецкие солдаты стали сжигать близлежащие деревни и станции. Жители из деревень уходили в леса, забирали с собой скот, зерно и другую пищу. В лесу рыли землянки для себя и животных, там и жили. Овощи, картофель с осени закопали на поле в бурты. Это такие кучи, обложенные сверху соломой и засыпанные землёй. Зимой под снегом было тепло овощам. Моя тётя и дядя и другие двенадцать человек (среди них были и дети) отправились из леса за картофелем в поле к бурту и не заметили,

как к ним в белых маскировочных халатах подошёл на лыжах карательный отряд. (Эти отряды в деревнях поджигали дома, а кто не успел спрятаться, того убивали). Фашисты напали внезапно на людей, всех закололи штыками. Только моему дяде и одному мальчику удалось убежать в лес. По ним стреляли, но не попали.

Погибли в партизанском отряде два моих двоюродных брата. А муж моей тётки погиб под Выборгом во время войны. Там в парке на военном обелиске высечена его фамилия. Погибли на войне и два папиных брата. Папа прошёл всю войну, дошёл до Берлина и остался жив. У него был орден Красной звезды и много медалей. После войны нас папа нашёл и увёз на Украину в город Гайсин Винницкой области. Там стояла его воинская танковая часть. Он был начфин<sup>2</sup> дивизии.

И вот первый после войны - 1946 год. 9 Мая в городе был военный парад. Отряды солдат шли по каменной мостовой. Цвели каштаны, было тепло и солнечно. У солдат на груди сверкали ордена, звенели под ритм шагов медали. Их было так много, что в воздухе стоял звон, как будто играла музыка. Мы с сестрой в белых платьях с бантами на голове увидели папу в строю и подбежали к нему. Он встал с краю, взял нас за руки. Так мы шли в колонне до самой площади, где был митинг. А потом мы вместе с папой ели мороженое.

Это всё, что я помню о днях оккупации, о войне, о Красной Армии, которую мы очень любили, и о Победе.

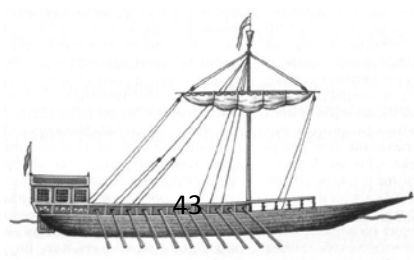
---

<sup>2</sup> Начальник финансовой части



Тамара Александровна Зайцева и  
Наталья Викторовна Филинова  
Кингисеппская средняя  
общеобразовательная школа №3

2010 г.



## Анатолий Петров



Анатолий Николаевич Петров родился 13 января 1937 года в посёлке Струги Красные в семье Николая Владимировича и Марии Герасимовны Петровых. Вскоре семья Петровых переехала в Ленинград и первые годы жизни Анатолий провёл в Ленинграде. Дед Анатолия Николаевича – Владимир Прокофьевич Петров родился в Санкт-Петербурге, но переехал в д. Яблонец, где женился. В семье Владимира и Варвары Петровых родилось восемь детей – семь сыновей и дочь, младший сын – Николай и стал отцом Анатолия.

Анатолий до пяти лет жил в Ленинграде, но в самом начале Великой Отечественной войны бабушка вывезла его в родную деревню Яблонец, где он совсем маленьким попал в немецкую оккупацию. Хлебнул горя вместе с остальными жителями деревни: с 1943 года жил в лесу, в землянке,

голодал, видел смерть.

После войны вернулся в Ленинград, окончил школу, Полиграфический техникум, в 1965 году – факультет журналистики Ленинградского государственного университета, и талантливый журналист оставили на кафедре.

В 1971 году А.Н. Петров пришёл в журнал «Нева», где и проработал до самой своей смерти.

В 1981 году он создал в журнале «Нева» раздел «Седьмая тетрадь» и был его редактором. «Седьмая тетрадь» – любимое детище Петрова просуществовавшее 25 лет – до его смерти. Этот раздел (а по сути, журнал в журнале) был необычайно популярен: многие начинали читать журнал с конца – с «Седьмой тетради».

Популярнейшая среди читателей «Седьмая тетрадь» обязана своим возникновением и долголетием Анатолию Николаевичу. Благодаря его незаурядному редакторскому таланту в каждом номере «Невы» появлялось множество глубоких, содержательных очерков по истории Петербурга, архивные изыскания, мемуары, публицистика из литературного наследия.

Анатолий Николаевич был сам талантлив и поэтому притягивал людей ярких и одарённых. Авторов, опубликованных в «Седьмой тетради» было великое множество. По воспоминаниям жены – Елены Зиновьевны, – дома рабочий стол Анатолия Николаевича был постоянно завален рукописями. По общему мнению, Петров был превосходным редактором, бережно относившимся к авторскому тексту. И вообще был мягким, интеллигентным и очень ранимым человеком.

Он был человеком чрезвычайно творческим, постоянно фонтанировал идеями. Так и родилась «Седьмая тетрадь» – главное дело его жизни. Это могло произойти только при его любимом главном редакторе Дмитрие Терентьевиче Хренкове. Они оба были отчаянно смелыми. А следующий главный редактор – Борис Николаевич Никольский, называл Петрова «последним бунтарём «Невы». Бунтарей же, как известно, начальство не любит. У Анатолия Николаевича была идея и возможность создать свой собственный журнал, но, как обычно, подвёл материальный вопрос...

Он называл себя «играющим тренером», так как не только выполнял редакторскую работу, но и сам постоянно писал. Причём, вероятно, благодаря прирождённой скромности часто подписывал свои сочинения псевдонимами, одним из которых был, например, - Парфён Рагозин. Несомненно, данный псевдоним – произведён от названия деревни Рагозино, откуда родом была мать Анатолия, и где он впоследствии имел дачу.

Круг интересов Анатолия Петрова был весьма широк. Он любил животных, детей, стариков. Любил природу, знал названия множества цветов, трав, деревьев, птиц... Он обожал музыку, театр, хорошие фильмы, живопись и особенно скульптуру. И писал обо всём этом. Очень любил животных и писал про них с огромным юмором. У Петрова был глаз художника и писателя. Рисовал он прекрасно и создал целую галерею портретов. В «Неве» устроили даже выставку его рисунков. Часть из них включена в книгу Анатолия Петрова. Он начал готовить её к печати, но не успел.

В марте 2006 года Анатолий Николаевич пережил инсульт. А 8 декабря того же года его не стало. Ещё 5 декабря он ездил на работу и успел подготовить план февральского номера журнала. А 13 января 2007 года ему бы исполнилось 70 лет, он всего месяц не дожил до своего 70-летия.

После смерти Анатолия Николаевича, его супруга – Елена Зиновьевна Фрадкина постаралась завершить последнее дело мужа – издать книгу его рассказов, повестей, эссе, рецензий, к тому же иллюстрированную его рисунками.

В самом начале книги А.Н. Петров особняком поместил рассказ «Праздник, который всегда» – вероятно особенно важный для него. Данный рассказ автобиографичен, он описывает события первых месяцев 1944 года, когда ещё ребёнком с матерью, братом и сестрой, Анатолий жил в землянке в лесу возле деревни Кириково. В рассказе он описывает как освобождали территорию Струго-Красненского района советские войска.

Рассказ написан за несколько месяцев до смерти, и слова, завершающие данный рассказ очень точно передают мироощущение Анатолия Петрова: «...я почувствовал себя счастливым-пресчастливым и вполне ощутил, что это такое – жить! С этим ощущением и пребываю».

В книгу также включён и незаконченный рассказ «Карпыч», который Анатолий Николаевич писал в свою последнюю ночь. Рассказ обрывается на середине фразы... Книга, стараниями вдовы писателя, увидела свет в 2009 году.

«Он жил светло и радостно, и пел утром, как птица, несмотря на болезни и горести», – писала Елена Фрадкина.

Петров на самой последней страничке своей записной книжки написал: «**Главное:** прожить эту несчастную, местами – гнусную жизнь **продуктивно**».

И Анатолию Петрову это удалось в полной мере.

*Алексей Фёдоров, 2012*

Источники:

- Фрадкина Е. Послесловие// Петров А. Седьмая тетрадь. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2009.
- Нева. – 2007. – №1. Стр. 287.
- Петров А. «Мой старик» (Постскриптум редактора СТ)// Нева. – 2000.– №1.
- Петров А. Праздник, который всегда// Нева. – 2006. – №5.
- <http://www.spbsj.ru/index-knigi/1955-anatolij-petrov.html>

\*\*\*

Многие из произведений Анатолия Петрова автобиографичны. Ниже приведена подборка из нескольких рассказов, в которых он описывает своё детство, проведённое в оккупации, рассказывает о судьбах родственников, земляков, также и о своей судьбе<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Печатаются по изданию: Петров А. Седьмая тетрадь. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2009.

*Анатолий Петров*

### **Про тубетейку**

Это была замечательная тубетейка! Вишнёвого цвета. Бархатная. Расшитая замысловатыми узорами. Додумался же какой-то мастер из крымских татар навертеть спиралек из тонюсенькой проволоочки, я считал, золочёной, и эти спиральки уложить красиво на вишнёвом бархате – глаз не оторвать!

Тубетейку подарил мне папа Гриша, Царство ему Небесное, – он погиб в сорок первом году под Петро-Славянкой.

У папы Гриши с мамой Варей не было детей, они хотели меня усыновить, когда посадили моего родного отца. Моя родная мама не согласилась: слыханное ли дело! Но папа Гриша и мама Варя всё-таки не теряли надежды. Я слышал, как мама Варя говорила бабушке: «Ну, и чего Мария не соглашается! Отца посадили – и семью не пожалеют. А мы бы с Гришей хоть малыша спасли – усыновили». Малыш – это я, значит. Ну какой же я малыш!

И я жил у них на проспекте Москвиной, дом три, квартира пять. Меня заставили вызубрить этот адрес: мало ли где потеряюсь в предвоенном Ленинграде. А чего там теряться-то! Город – не стог сена, а я не иголка.

Мама Варя как-то взяла меня с собой в магазин. Я, конечно, отправился с нею в своей красивой тубетейке – чистый принц из сказки, и золочёные узоры сияли на моей голове, которую я нёс гордо и с достоинством. Далеко был тот магазин – где-то на Международном проспекте, а может, это был Ворошиловский магазин напротив памятника Плеханову. Точно не помню. А там народу! «Пушкой не прошибёшь», сказала мама Варя, заняла длинную очередь в крупяной отдел и («Какой кошмар! Чего тебе здесь томиться!») отвела меня в Польский садик. Поиграй, мол, говорит, с ребятишечками из очага, какие славные мальчики и девочки, а вон их полненькая такая воспитательница в очках на скамейке сидит, книжку читает, попрошу-ка её за тобой приглядеть. И мама Варя ушла достаивать очередь.

А ребятащечки меня окружили, смотрят как на чудо-юдо, а я их и не замечаю совсем: смотрите, смотрите, дурачки, и строю башню из сырого песка. А они все стоят вокруг и глазуют! Глазейте, глазейте! Воткнул я в свою башню веточку жасмина, понюхал цветочек: ах, какой приятный запах! Они, вижу, ребятащечки эти, тоже носишки наморщили – принохиваются.

«Та-ак, говорю как будто бы самому себе, но очень громко. – Это Троицкий собор. «Иже еси на небеси хлеб наш насущный даждь нам днесь»».

А они и обалдели.

А я «Отче наш», ночью разбуди, без запинки прочитаю – научила бабушка Варвара – не путайте, ради Бога, с мамой Варей; бабушка Варвара – мама мамы Вари и моего папы, которого я никогда не видел и которого посадили в тюрьму, едва я успел народиться, а бабушка Варвара научила меня, крестясь перед божницей, на коленках стоячи, читать наизусть «Отче наш».

«Да, – говорю, – это Троицкий собор. Вон над крышами синий купол виднеется, весь в золотых звёздах. Я ходил в этот собор с бабушкой. Краси-и-во! Там иконы святых угодников висят, горят свечи и лампы и пахнет ладаном, и дьякон машет кадиллом и отпевает покойников толстым голосом: «Со святыми упоко-ой!»»

И вот, чую, я, что называется, завладел вниманием аудитории! Так папа Гриша говорил: я, мол, выступил на фабкоме по вопросу о повышении производительности труда затяжчиков мужской модельной обуви и сразу же завладел аудиторией.

А моя аудитория с интересом вылупилась на купол Троицкого собора, ахает, словно бы никогда его и не видала. Да и понятно: ходят все носами к низу и грезят про монпансье да про эскимо, а чтобы вверх посмотреть – ни-ни!

А я тем временем сандалетку снял с правой ноги. И вот, гляжу, подходит ко мне толстячок в очёчках. Я сразу догадался – он у них тут главный коновод. И на воспитательницу похож. Вылитый. Всё ясно. В коротких штанишках на проймочках, такой весь из себя гогочка. Ненавижу промочки. Мама Варя шьёт мне штаны без всяких проймочек под мой любимый беленький ремешок. А таких, как этот жиртрест в проймочках, бабушка Варвара называет «бугзеи».



Она и моего друга Лёвку с третьего этажа так называет. «Бугзей, – говорит, – твой Лёвка». – «Ну и что, – говорю, – а мне его жалко. Знаешь как он задыхается, когда мы в пятнашки играем, и я ему нарочно поддаюсь. Зато у него есть трамвай-«американка». Как настоящий. Вернее, вагон. Большой-большой, с полстола, деревянный и раскрашенный, со всеми сиденьями, и три двери у него, и все открываются». – «Ой-ой, будя врать-то, выдумщик!» – «Да ну тебя, бабка Варушка. Вечно ты меня расстраиввешь».

И тут бугзей тот в очёчках, который на воспитательницу похож, совсем близко подошёл к моему «собору». А я на коленках по песку ползу и двигаю перед собой сандалетку. «Это, – говорю, – автомобиль «Эмка». Р-р-р! Тугу-дугу-дугу! Ш-ш! Би-би! На нём митрополит приехал служить божественную литургию. Благослови, владыко!»

«Чепуха, – говорит бугзей. – Это не «Эмка», а полуторка, и привезли на ней унитазы. А твой «собор» надо взорвать и на его месте построить Большой дом, как на Литейном. Слыхал про такой?» – «Слыхал, слышал», – отвечаю. «А у меня там, хвастается бугзей, – папа работает старшим следователем. Понял?» И – р-раз ногой по моему «собору».

Ах ты, гад!

Вскочил я на ноги, кулаки стиснул. В глаз бы закатать этому бугзею, да очков евоных жаль. А, была не была! И – тресь его по носу.

И сразу кровь брызнула из носа этого бугзея – надо же, какой слабый нос! И на белую рубашку потекла, и на штанишки с проймочками, и на белые гольфики, и заревел бугзей, как корова, и рот его сделался большой, как у бегемота, слёзы – ручьями. И, хотите верьте, хотите нет, он описался!

А воспитательница прыг со скамейки, книга упала с её колен, и я увидел золотые буквы на коричневой корке этой книги – «Война и мирь». «Юрик, Юрик, – запричитала воспитательница. – Сыночек мой дорогой! А ты, – воспитательница погрозила мне кулаком, – а ты – негодяй! Развёл тут, понимаешь, религиозную пропаганду! У-у, маленький мракобес! Найдём на тебя управу!»

«Ага, счас! – подумал я. – Дожидайтесь! Как бы не так!»

Раненого бугзея уложили на травку, мокрый платочек приложили к носу, ребятишечки сгрудились вокруг горестной толпой – прямо как безутешная родня сражённого неприятелем героического, кхм, героя.

А я сандалетку свою надел и быстренько направился к выходу из Польского садика. А чего тянуть! Не хватало мне неприятностей! Да вот беда, тубетейку забыл впопыхах – она слетела у меня с головы, когда я на бугзея замахивался. Ну и тютя!

Мама Варя её нашла. Искала меня в Польском садике, а нашла тубетейку. Мама Варя чуть от горя не спятила. Воспитательница давно ребятишечек увела в очаг, а где тот очаг, никто не знает, их там, очагов этих, видимо-невидимо, и мама Варя понеслась домой.

А я спокойненько дошёл до своей парадной. Через Измайловский проспект попросил перевести меня одну тётеньку.

Тётенька удивилась: «А чего ты один? Без мамы?!» – «А я, говорю, круглый сирота. С бабушкой живу. Она совсем больная у меня. Я и по магазинам хожу. Вот ходил за ирисками, только они там кончились». – «Ну и ну! – всплеснула руками тётенька. – Бедное дитя. А почему у тебя коленки грязные?» – «А я денежку уронил в магазине. Такую большую монету, на ней ещё рабочий с молотком и крестьянин с бородой нарисованные». – «Полтинник?» – «Ну да». – «Нашёл?» – «Не-а, я весь магазин обползал, наверное под прилавок закатилась. Да и ладно. Ирисок-то всё равно нет».

Я нарочно тётеньке голову морочил. А то догадается, что схулиганичал – нос бугзею расквасил и самовольно ушёл из Польского садика. И ещё я этот, как его, бес мака, а бесы, известно, всегда с рогами.

«Маленький бес под кобылу подлез». Я даже голову общупал. Ох, горе луковое! Я же тубетейку потерял! Хоть плачь, ей-богу! Но виду не показываю тётеньке. Срашиваю: «А чего это грузовые трамваи стоят? Бензин кончился? Тогда зачем они песок выгружают прямо посреди улицы?» – «Ты что, с луны свалился? – удивляется тётенька. – Война идёт вторую неделю! Мало ли, немецкие самолёты начнут сбрасывать зажигательные бомбы, мы их тога будем тушить песком». – «Война? – говорю. – То-то нервные все, бегают по магазинам, шепчутся по углам. А мне даже и не сказали». – «Ладно, успокойся, – это

тётя, – всех детей отправят в эвакуацию на Северный Кавказ, а там круглый год тепло и много фруктов. Ты где живёшь?» – «Проспект Москвиной, дом три, квартира пять». – «Дойдешь один?» – «А то нет». – «На вот тебе жаворонок, несчастный ребёнок. Любишь жаворонки?» – «Люблю. Только я сперва ихние изюмовые глазки выковыриваю и съедаю».

Доедал я жаворонок под столом среди своих игрушек – мне их много напукнули. Чего ни попрошу – сразу же купят. У меня там кубики с буквами, я по ним читать научился, любимая книжка «Три поросёнка» с цветными картинками, трёхколёсный велосипед, ружьё, наган, сабля, серый конь на колёсиках – сивка-бурка, вещая каурка, у него глаза похожи на маслины и напоминают мне глаза моего друга Лёвки с третьего этажа, такие же выпуклые и блестящие. Да много чего ещё.

Бабушка, когда я пришёл, строго спросила: а где, мол, мама Варя? Где, мол, ты её бросил, окаянная твоя сила? А она, говорю, с одной гражданочкой разговорилась. А тут и мама Варя влетает в комнату. «Ну и будет мне!» – думаю и решаю: если станет ругаться, прикинусь Мишей Припадочным, он побирается каждый день возле Троицкого собора и раз, мы с бабушкой видели, упал на асфальт и забился-забился, задёргался, замычал, пена изо рта. Ему один дяденька в пенсне свою трость, разжав Мишины зубы, дал погрызть, чтобы язык не откусил, бабушка мне объяснила. Вот так и я сделаю. И уже напрягся... А мама Варя мне обрадовалась, обнимает, целует, без конца повторяет: «Ах, какое счастье, какое счастье!», суёт конфетину «Турксиб» и тубетейку подаёт. Тут уж и я обрадовался: как-никак подарок от папы Гриши, он даже в этой тубетейке сфотографировался в Крыму, куда они с мамой Варей ездили на курорт, бабушка говорила соседке: мол, лечиться от бесплодия, не знаю, что это такое. В Ялте они эту тубетейку и купили, а я, окаянный, чуть её не потерял. Ах ты, тубетеечка моя драгоцененькая, никогда с тобой не расстанусь!

Пришлось. Так получилось.

Как-то я услышал из под стола, бабушка говорит: «Ни в какую эвакуацию я его не отпущу, кому говорю, Варька! В Струги Красные поедем, а оттуда в Яблонце к родной печке. Заладила про эту, как её, не выговорить, эвакуацию. Никаких! Марш на Варшавский вокзал – уедем хоть сегодня, хоть завтра. Телеграмму отправь своему

любимому братику Лёшеньке, пусть встречает нас на подводе. Эй! – Бабушка заглянула ко мне под стол. – Шишок баенный! Собирай манатки – уезжаем в деревню».

Я почти все игрушки забрал, кроме велосипеда и «сивки-бурки». И тюбетейку не взял. Забыл. Я её донашивал уже после войны.

Мы выехали с последним поездом. Он только до Струг и дошёл. Немцы, говорят, были уже во Пскове, а дня через три я их, весёленьких, и увидел. Явились – не запылились, бабушка сказала.

А у мамы Вари после войны случилось тихое помешательство. Всё молчала и плакала. Даже меня не узнавала. А увидела мою тюбетейку, зарыдала в голос: «Гриша, Гриша, Гриша!» Мама Варя пережила блокаду, у неё умерли отец и мать, погиб в ополчении папа Гриша, погибли семеро братьев, остался один младшенький – мой папа. Было от чего помешаться! А моего папу из тюрьмы отправили в штрафную роту, и он воевал в ней всю блокаду. Под Невской Дубровкой.

### **Feuer<sup>4</sup>**

Горело гумно. Искры поднимались к самому небу, чёрному небу августовской ночи, и мне казалось, те искры превращаются в звёзды – и звёзд становится больше и больше. Я сидел на узлах, вытасненных из дома, бабушка укрыла меня ватным одеялом – в августе ночью, бр-р, холодно. Вся деревня сидела на узлах, женщины плакали, они, как одна, молили Бога о том, чтобы ветер не переменялся, чтобы он не повернул на деревню. Если повернёт – тогда ей конец, выгорит, к чёртовой матери, дотла. Это было в 41 году. А в 43-м она всё-таки выгорела. Спалили. То ли оккупанты, то ли партизаны.

У дома с высоким фундаментом и высоким крыльцом (в доме совсем ещё недавно помещался сельсовет, а сейчас жили немцы) стояли командир хоз. отделения ефрейтор Вальтер, повар Курт и рядовой по кличке Маля – так этого солдата окрестили деревенские

---

<sup>4</sup> Feuer (Фойер) – у этого слова много значений; основное – «огонь» (нем.) (Прим. автора).

остряки за то, что он своеобразно произносил русское слово «мало»: набирая у кого-нибудь огурцов – ему насыпали их в рыжий ранец, он всегда говорил: «маля».

Покорившие Европу и маршировавшие по российским дорогам, немцы старались быть добрыми, покладистыми и распорядительными. Они восстановили прежнюю, досоветскую, власть, назначили волостного старшину, старосту деревни Яблонца и блюстителей порядка – полицаев, которых потом, после Сталинграда, они же и повесили – за связь с партизанами. Одного из полицаев звали Мишка Сазонов, другого, кажется, Гурик.

Хоз. отделение – эти мирные немцы – приобретало «товары» у жителей Яблонца и соседних деревень по бартеру, как теперь говорят, и за наличные (а в ходу были наши деньги, особенно полюбившиеся немцам красные тридцатки с портретом Ильича), так вот, немцы заготавливали мясо, сало, фураж, дрова, овощи, картофель. Бабушка выменивала у них на пёструю телушку шесть мешков ячменя, на другой год мы (я, конечно, слишком самонадеян, чтобы говорить «мы» – мне о ту пору было пять лет) весной мы этот ячмень посеяли и осенью сняли приличный урожай. Так вот, ячмень очень нам пригодился, когда целые деревни переселились в леса – тогда немцев припекло под Сталинградом, и они стали зверствовать, силы тысячелетнего рейха к тому времени истощились, а тут ещё партизаны начали весьма и весьма активно шалить, по деревням шастали карательные отряды, сформированные, как помню, в основном из удивительно свирепых эстонцев. Они, как скотину, загоняли отловленную в ходе своих экспедиций молодёжь в кузова громадных тупорылых грузовиков с надписью «MAN» на радиаторах.

Но это случилось позже. А пока весёлые, довольные жизнью немцы из отделения ефрейтора Вальтера успешно вели заготовки и между делом развлекались.

За ними, куда бы они ни направлялись, таскался, как собачонка, баран по кличке Петух. Этот русский Петух не любил почему-то деревенских мальчишек, преследовал их, коллаборационист хренов, и пребольно поддавал им в худенькие их задки круто закрученными рогами.

Меня Петух загнал однажды на изгородь, и, пока я там сидел, он пасся поблизости, искоса поглядывая в мою сторону: «Ужо-ка!»

Долго я не выдержал: достал из-за пазухи рогатку, размотал её, «зарядил» гáлышем, прицелился, – ну ясно куда – в ярко выраженный признак мужского достоинства Петуха, – яички, которые у него чуть ли не волочились по земле. «Щас ты у меня закукарекаешь!» Целился я старательно, выстрелил и, как ни странно, попал. Баран высоко-высоко подпрыгнул, вякнул утробно и удрал – вероятно, под защиту своих закадычных друзей, представителей вермахта.

А я хохотал, сидя на изгороди. Потом-то мне пришлось заплакать сердитыми слезами.

Маля, наблюдавший сцену моего единоборства с Петухом, подкрался ко мне, сгрёб в охапку и бегом понёс к скотному двору. «Корзинка сажать! – радостно орал Маля. – Балшой корзинка. Турма!»

Может, и впрямь Маля посадил бы меня, но не в корзину, а под неё, как клушу, если бы не бабы.

«Маля, куда ты его тащишь? Отпусти!»

И Мадя со смехом поставил меня на траву.

Да, жизнерадостными были в 41 году эти немые, как называла их бабушка. Отдыхая в бывшем сельсовете от трудов великих, они пили шнапс у открытого окна – мы, пацаны, подходили к этому окну, и они угощали нас конфетами. Немцы горланили свои песни, а потом ставили на подоконник патефон и заводили: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой...» В этой песне не было ни маршевых ритмов, ни свойственных немецкой речи рычания и лаянья. Песня была напевной и настраивала сентиментальных фрицев на лирический лад. Впрочем, ненадолго. Им снова хотелось чего-то воинственно-маршевого, и тогда из патефона звучало:

Всё выше, и выше, и выше...

Или уж совсем несусветно звучащее для русского уха тогда, в 41 году:

Ой вы кони, вы кони стальные,

Боевые друзья трактора,

Веселее гудите, родные,  
Нам в поход отправляться пора.

Мы с чудесным конём  
Все поля обойдём,  
Соберём, и посеем, и вспашем.  
Наша поступь тверда,  
*И врагу никогда*  
*Не гулять по республикам нашим.*

Напившись, напевшись и наслушавшись бодрых советских песен, немцы разбирали карабины из пирамиды, над которой висели два изображения: подбоченившийся картинно Гитлер (фото) и Сталин с переkreщенным ярко-красными мазками носом (плакат).

Было ясно: сейчас вооружённые немцы, гогоча, пойдут охотиться на диких голубей – их было видимо-невидимо в высоченной силосной башне, круглой, обшитой тёсом, с символами социализма наверху – серпом и молотом.

(В этой башне, между прочим, мы иногда покуривали. Выпрошенными у повара Курта сигаретами нас угощали старшие пацаны.)

Постреляв по голубям, немцы выстраивались шеренгой и открывали залповый огонь по серпу и молоту. Вальтер неизменно стрелял из пистолета, командуя подчинённым: «Feuer!» Но мазали немцы, мазали и мазали – башня так и сгорела в 43 году, гордо и достойно, под серпом и молотом.

Вот так они и развлекались.

У Вальтера, правда, было ещё одно развлечение. Вальяжный, в кожаных шортах, толстомясый, он, проходя мимо женщин, стайкой сгрудившихся у колодца, громко и

отчётливо пукал. Обязательно. Это было ритуальное пуканье. Если мы, пацаны, оказывались тут же, в зарослях коринки, которую обожали, то приветствовали этот ритуал хоровым выкриком: «Feuer!» Вальтер смеялся в ответ: «Гут, гут! Карашо!»

...А гумно между тем горело. Я выполз из-под одеяла и пошёл к бывшему сельсовету – оттуда, с возвышенности, виднее и пожар и зарево в полнеба, и вообще там светло, как днём, – можно даже читать, если есть что. Там я и увидел троих немцев. Они переговаривались на своём харкающем языке. Я понял из их разговора всего одно слово «Feuer», но никак не мог сообразить, при чём тут команда «Feuer!», то есть «Огонь!» Это потом, став взрослее, узнал, что у слова «Feuer» множество значений...

Горело здорово.

Это, как выяснилось, был поджог...

С чего же всё началось?

Мужики, которых не успели мобилизовать, разделили бывшие колхозные нивы между всеми жителями деревни, с учётом, конечно требований, пожеланий и условий оккупационных властей – их нельзя было обойти, нельзя было не взять немцев в долю, львиную, надо полагать.

Урожай собрали, частью уже обмолотили, частью даже провеяли. Вокруг гумна были горы соломы, на колосниках риги сушилась рожь в снопах. В зеве молотилки спал сторож – он-то и увидел, вовремя проснувшись, поджигателя – им был некий Коля Жиган – птица в деревне залётная, вороватая, нигде никогда не работавшая. Жиган требовал «свою» долю, мужики послали его подальше: мол, ты, если тебе выделить поле ржи, её не сожнёшь – руки у тебя в жопе... Жиган озлился – мстительный был, подлец.

Солома уже занялась, когда сторож выскочил из молотилки, и потушить ту солому не было никакой возможности.

В ту же ночь Жигана поймали, избили до полусмерти, связали и хотели повесить на осине возле кузницы. Уж и петлю накинули на шею Жигану, да добрые немцы за него вступились, заперли в подвале сельсовета – до утра. Однако утром там его не нашли... Он объявился в деревне после войны. Снова чудил, даже успел украсть корову, зарезал её, и



намеревался было продать, да схватили его на базаре. Посадили того Жигана, и слуха о нём не было и нет. По сию пору...

Утром, когда гумно догорело, когда ещё пахло гарью, я вышел из дому с куском немецкого эрзац-хлеба в руке и кружкой молока. Мне нравился этот хлеб, но только с молоком. Хлеб, как и свечи, – походные, низенькие и широкие, в картонных плосках – такие, как, скажем, церковные лампадки, можно было за красненькие тридцатки с Ильичом купить у Курта. Говорили, что «эти гады» хлеб пекут из опилок. Мне так не казалось.

Я сидел на крыльце. Светило Светило. Я завтракал, болтая ногами. Внизу, на песке, суетились, как всегда, воробьи – эти вечные побирушки. Я делился с ними хлебом. Немецким. А какая им разница?

И тут... Я поставил кружечку на чистое, тёплое, гладкое, ласковое, золотистое, замечательное дерево крыльца («доски» звучит грубо) – крыльца, которое я любил и всегда вспоминал и которое в 43 году, когда уже мы жили в землянке в глухом лесу, сгорело вместе с домом. Жаль мне его. Очень...

Я поставил кружку и положил на неё хлеб. Поднялся. Пошёл к калитке. За кустами звучали голоса. Из-за кустов появилось облако пыли. Потом процессия. Немцы верхами. Гнедая кобыла в оглоблях. Телега. На ней тоже немцы. Один играет на губной гармошке. За телегой связанные босые русские парни. Партизаны? Да. Полуголые. В одних портках. Избитые...

Я не стал допивать молоко. Хлеб бросил воробьям.

Ко мне подошли пацаны: «Пойдём посмотрим, что осталось от гумна». – «Пойдём».

А что от него осталось? Дымок, тлеющие головешки, чёрные кучи сгоревшего зерна, пепел и мрачный остов молотилки.

Мы разрывали кучи, доставали из их глубин спарившуюся рожь, ели её горстями. Было вкусно. Рассуждали. Спорили, но не до драки.

«Смотрите, немцы!»

И верно: по дороге, метрах в двухстах от гумна, едут на конях немцы. Шагом, спокойненько, чинно. Немцев пятеро. Блеснули стёкла бинокля: какой-то фриц разглядывает нас, копошащихся на пепелище, как каких-то насекомых.

Трое спешились.

Вскинули карабины.

«Feuer!»

Век не забыть, как свистят пули над головой и эхо выстрелов раскатывается по лесу надрывным кашлем туберкулёзника.

«Пацаны, ходу!»

Был второй залп. Мы залегли за бугорком – инстинкт... «Feuer!» Страх сильнее благоразумия, и мы рванули по луговине. «Feuer!» Серая лошадь Эльвира и её жеребёночек подняли головы – это семейство принадлежало старосте, оно мирно паслось на зелёной травке. «Feuer!» Какая-то баба бежит по косогору с воплем: «Ой, Лёлечка, ой, Лёлечка!» Жеребёнок падает – в него попали, сволочи.

Так моё сердчишко никогда не билось. Я прибежало домой – безумный, но и рассудительный. Быстренько-быстренько собрал свои, вывезенные бабушкой вместе со мной, шкетом, из Ленинграда на последнем поезде «военные» игрушки. Говорили: за хранение огнестрельного оружия – расстрел. Забрался на чердак и все эти винтовки, наганы, танки и самолёты спрятал в сундук. И сел на него.

Послышалась немецкая речь. Смотрю в щёлку: *эти*, на лошадях. Наверняка за мной!

Но нет – проехали мимо.

Из их болтовни я разобрал два слова. Одно – «Партизанен». Другое – «Фойер». Нет, то была не команда «Огонь!», немцы вели речь даже не о пожаре, они закуривали.

## Монтенем по голове

Над школой – краснокирпичным двухэтажным зданием, бывшим домом бывшего купца Манькина по кличке Кабан, красовался флаг со свастикой. К той школе согнали всё население деревни Яблонец – от мала до велика. У стены стояли три фрица – сумрачные, как кладбищенские изваяния, расставив ноги во фрицевских сапогах с короткими голенищами, со шмайссерами, в касках, из-под которых, словно из бойниц, глядели серые, с чёрными точками зрачков, расстрельные глаза потомков Одина. Барабанной дробы не было. Народ безмолвствовал с покорно обнажёнными головами. Только женщины не сняли платков, первомайски-ярких и довольно легкомысленных, да мой дед не снял шапки.

Шла экзекуция.

Палками, то бишь шпицрутенами, били курносых парней.

Они, а всего их было шестеро, в очередь, спустив штаны, ложились на широкую скамью и спокойно, как должное, получали свои тридцать палок. От земляков. Тоже курносых, тех самых, вместе с которыми, возможно, не раз и не два, и даже не три и не четыре, тискали девок на гуляньях, дули самогон и орали под гармонь похабные частушки.

Мой дед был умный человек. Что значит умный? Начитанный? Конечно. Но многознание, как он мне твердил, уму не научает. Он был умным от природы.

Коренной петербуржец, он, осиротев, какое-то время перебивался с хлеба на квас в городе на Неве, но сумел-таки скопить деньжонок – служил половым в квартире, приказчиком в мануфактурной лавке, подрабатывал в дешёвых изданиях с мечтой стать профессиональным журналистом. Увы, мечта его не сбылась. То ли потому, что он понял – вторая древнейшая профессия не для него, то ли потому, что вдруг захотел разбогатеть. Он приехал в Яблонец и сделался сидельцем в казённой винной лавке, в просторечии именовавшейся кабаком. Его все так и звали в округе – Кабатчик. Это прозвище унаследовал и я, и мой двоюродный брат.

Кабатчиком дед служил до 1914 года; началась война, и введи «сухой» закон. Сперва дед занимался сапожным ремеслом – чинил обувь, даже ездил на заработки по деревням, потом он этим пресытился – малоприбыльное занятие – и, прихватив моего отца,

помчался в Питер. Там устроился швейцаром в Таврический дворец. Я удивляюсь, как легко ему это удалось. Дед жил в каморке во дворце же, а мой отец состоял при бородатом швейцаре мальчиком на побегушках, покупал папиросы для «думцев», подавал калоши и шляпы многим и многим деятелям: сначала власти царской, затем временной, наконец, большевистской. С дедом раскланивались, пожимали ему руку и «отваливали» на чай – чёрт возьми, неужто призраки и впрямь были реальными историческими личностями – Милюков, Керенский, Савинков, Плеханов, Ленин!..

Впрочем, что тут такого? Конечно, все эти персонажи существовали. А дед был человеком обходительным, умел к месту ввернуть острое словцо, пошутить, а то выворотить такую заковыристую словину или же присловье – Даль бы позавидовал, не то что народные радители. Они разевали рты, хохотали проникались к деду особым расположением. Вся прошедшая жизнь шлифовала деда, в том числе и в пресловутом его кабаке. Мой отец рассказывал, как однажды, когда дед ещё стоял за прилавком своего заведения, удобно расположенного на почтовом тракте, к нему закатился богатенький псковский купчина и... загулял. Понравился ему говорливый кабатчик. Купец гулял неделю, веселился, жил в «комнатах» при кабаке, пил много и люто, но без деда – дед был трезвенником. Перед тем как укатить на собственной тройке с бубенцами, облобызав деда, рёк купец: «Душа-человек Прокофьич, ублажил ты меня, уважил, утешил и распотешил. Я в долгу не останусь. Эх, широкая русская натура!»

Спустя какое-то время – дед и думать забыл о купце – приходит со станции бумага: мол, на ваше имя прибыл вагон, просим получить груз. Дед долго чесал лысину, читал и перечитывал бумагу, наконец велел сыновьям снарядить три подводы.

Долго же пришлось гонять те подводы, пока вместительный сарай на дедовом хуторе доверху не заполнился пузатыми мешками из рогожи.

Купец оказался рыбопромышленником и прислал деду чёртову пропасть снетков. Год ими питались и семья, и соседи, и куры, и поросята. У моего отца с той поры образовалась некая аллергия на эту рыбёшку, он, как помню, видеть её не мог и в зрелые годы, тогда снеток ещё продавался и в магазинах, и на рынках. Это сейчас его днём с огнём не сыскать. Говорят, отравилась нежная рыбка ядохимикатами, что талая вода несёт по весне в Чудское и Псковское озёра. Что-то ловят, но – мизер, и всё идёт на экспорт.

В юные годы, наезжая в Яблонец, я шлялся по его ближним и дальним окрестностям, а когда оказывался в какой-нибудь глухой деревушке и с кем-то из стариков разговаривал, неизменно слышал простецкий вопрос: «Ты чей?» – «Кабатчиков», – отвечал я. «А-а! Всё ясно». И мне про моего покойного деда рассказывали легенды, передавали, как умели, его притчи, прибаутки, побасенки.

Я много раз их слышал, но ничего, к стыду своему, не запомнил, а записывать поленился, надеясь, что они сами всплывут из глубин памяти, едва мне это понадобится. Нет, не всплыли. Я помню лишь, что у них был заземлённый, простонародный характер и чуть балаганный, безыскусный, слегка грубоватый стиль. Отец мне рассказывал: дед их сочинял экспромтом, лёжа на печи за ситцевой занавеской, и тут же читал самому себе и счастливо при этом смеялся. Они ходили в народе изустно, как фольклор.

В Яблонце дед женился. Бабушка родина ему восемь сыновей и одну дочь. Старшим дед дал образование. Старшие учились в гимназиях и реальных училищах. Мой отец был самым младшим и потому остался, как он говорил. Неучем. Зато основательно овладел политграмотой, освоил стихи Есенина и Демьяна Бедного.

А дед... Он умер во время войны. Инсульт. Я хорошо помню, как он в полубессознательном состоянии просил молока.

В Яблонце был Народный дом – просторный, вытянутый вдоль улицы. В том доме была библиотека. Я в неё заходил – из любопытства. Тётя в очках всегда меня чем-нибудь угощала. Она была сторожем и хранителем Народного дома, здесь и жила в маленькой комнате со своим мужем, деревенским пастухом, круглоголовым молчаливым человеком с застенчивой улыбкой. Пастух виртуозно играл на жалейке с берестяным раструбом; коровы по утрам спешили на зов этой жалейки, томно мычали и смотрели на своего предводителя влюблёнными глазищами. Куда потом делась эта скромная семейная пара, неизвестно. А Народный дом со всем его реквизитом сгорел.

Тётя в очках распоряжалась книжным богатством – невероятным количеством томов с красивыми корешками.

Ту библиотеку подарил Народному дому мой дед, а ему, в свою очередь, её завещала престарелая графиня, которую дед сумел очаровать эрудицией, прибаутками и гостинцами из казённой винной лавки.

Книги из имени умершей графини возили неделю...

А курносых парней между тем били палками. Мы с дедом стояли в толпе. Дед, как и я, был бос. Седой бородой, длинной, перепоясанной чёрным шнуром рубахой и мужицким носом он спустя многие годы напоминает мне Льва Толстого, вернее, представляется своеобразной его копией. Дед был в зимней шапке. У деда болела голова. Иногда он ощупывал шапку и при этом болезненно морщился. Его лысина вся была в ссадинах, под шапку он положил листья подорожника – «чтобы жар оттянуть».

– Теперь они, – сказал дед, когда экзекуция закончилась, и тут же оборвал самого себя, ибо на скамью вскочил ушастый тип в кожаном пальто, с нацистской повязкой на рукаве, в фуражке и, вскинув правую руку, начал произносить речь во славу тысячелетнего рейха.

– Я узнавал – это Синяков, главарь уездных полицаев, – пояснил дед. – А парням теперь придётся вести стоячий образ жизни.

– Как «стоячий»?

– А не сесть будет. Тебя когда-нибудь пороли?

– даже в угол не ставили. Бабушка только грозила под божницу на горох голыми коленками поставить. Это когда я кринку с простоквашей разбил.

– Эка гроза! Эка владычица, Господи прости! Она бы и меня не прочь наказать, только я ей не по зубам.

– Дед, а вот этот, с ушами... Мы встретили его. Ну, после того, как на нас напали?

– Помню. Порядок Ушастик наводил. Разбирался с этими вот хулиганами. Видал, чем кончилось? «И наказав жезлом, отпустил с честью». Опёнок.

Дед сам в своё время наводил в большой семье собственные порядки. Он считал, как потом рассказывал мой отец, каждую копейку. Выдавая бабушке в канун Пасхи на церковные свечи медные гроши, долго ей выговаривал, а затем с тяжёлым вздохом заносил в графу «Расход» толстой «бухгалтерской» книги сумму зряшной траты и бормотал, горестно покачивая лысой головой: «Владычица ты моя, разорительница ты моя. И всё-то козе под хвост». И детей своих дед держал в строгости – те его побаивались, но денег на их учение не жалел и одевал так, чтоб выглядели получше других.

Жизнь всех разметала. И все они сгнули. Кроме моего отца, пережившего и тюрьму, и штрафную роту, и ленинградскую блокаду, и Невский «пяточок», да самого старшего – Сергея, художника, ученика Константина Маковского: Сергей во время германской ещё войны оказался волею судьбы с русским экспедиционным корпусом во Франции и осел в Париже, на Монмартре; здесь он открыл при поддержке земляка Маныкина-младшего, бежавшего из России с фамильными драгоценностями, художественную школу. Сейчас уже нет ни отца, ни дядюшки Сержа. Живы ли мои кузен и кузина, полурусские французы? Бог весть.

Мы с дедом первые увидели Ушастика, когда жарким полднем тащились по деревенской улице, ступая босыми ногами в бархатную, такую приятную, такую мягкую, но и горящую пыль. Дед одной рукой прижимал к лысине носовой платок – из-под него тёмно-вишнёвой струйкой бежала кровь, в другой его руке была моя доверчивая ручонка, трепетная словно воробышек, пойманный добрым человеком.

– Дед, а дед? – спрашивал я поминутно, семеня рядом, и, задрав голову, заглядывал деду в глаза, под мохнатые его, с рыжиной, брови. – Дед, тебе не больно?

В ответ он мычал и наконец сипел:

– Чуть. Да ладно. Книгу не потеряй.

Я еле с этой книгой управлялся. Она была толстая, в кожаном переплётe с серебряными застёжками – заказная, понимаю я сегодня, – тяжеленная, будто кирпичина. Чтоб удержать её под мышкой, я время от времени подсоблял себе коленкой. А тут ещё лялочка моих штанов сползала и сползала с левого плеча.

Мы уже дошли до древних ясеней, выстроившихся напротив бывшего сельсовета, как появился Ушастик в сопровождении здоровенных полицаев с винтовками. Он приехал в Яблонец с инспекцией вверенного ему «воинства». Глаза его были пусты и мутно-белы, как алюминиевые пуговицы с немецкой шинели. И смотрел он в пустоту, туда же нёс он и своё окаменелое лицо.

– Передохнём, – сказал дед. – Тяжко, брат.

Мы сели под вязом на валун, нагретый солнцем. Дед уронил голову на руки и притих. А я думал об Ушастике. Его усы что-то мне напоминали. Они казались ненастоящими и похожи были... На что? На мотылька? На бабочку, чёрную такую бабочку. Сразу же после экзекуции, когда Ушастик произносил свою пламенную речь, это уже неделю спустя, – мне почудилось, что большие уши его вибрируют, а чёрная «бабочка» вспархивает после каждого произнесённого им слова, затем вновь садится на верхнюю его губу.

Я думал: «Если бы Ушастик вдруг улыбнулся...»

– Дед, а тебе и вправду не очень больно?

– Не, – невнятно отвечал дед. – Голова кружится, в глазах черно. А-а! Пройдёт...

«Вот если бы Ушастик улыбнулся, то траурная «бабочка» у него под носом сложила бы крылышки и стала бы невидимой, тогда лицо этого типа сделалось бы добрым. Но он не умеет улыбаться. В этом его несчастье».

И тут вновь показался главарь уездных полицаев, прямой, как оглобля, мрачный (из-за чёрной кожи своего длинного пальто, что ли?); за ним, с винтовками на караул, его подручные вели связанных деревенских парней, изрядно потрёпанных в междоусобной драке и в схватке с представителями власти, их лица были помяты, порезаны, побиты, – их лица превратились в кровавые блины; одежда на парнях висела лохмотьями, и сами они пьяно-распьяно вихлялись на ватных ногах, но бодрились: один даже приплясывал и хриплым голосом пел:

Ты сыграй, а я спою



«Скобаря», что ль, потешного,

А чтобы тело не потело

А у меня, что ль, у грешного.

Дед охнул и поднял голову.

– О! – сказал он и взял у меня толстую книгу. Погладил её. – Хорошо, что не Фридрих Ницше. Это, брат, мудрый Мишель Монтень. «Один сидит на троне, – дед ткнул пальцем в кожаное пальто, – другой на простой скамейке, – он показал на парня, который хрипел «Скобаря», – и каждый – на собственной заднице».

Дед посмотрел на окровавленный свой платок, приложил его к лысине:

– Про задницу, понятно, не я сказал, а Монтень. От себя добавлю: всю-то жизнь человек расплачивается за свои деяния, хорошие и плохие, собственной задницей.

Дед усмехнулся:

– Кроме меня. Я вот расплатился сполна собственной башкой. Худо мне.

Его стошнило.

Я посмотрел вслед удаляющейся процессии, погрозил кулачком всем им, но больше – пьяным истерзанным парням:

– У-у, гады!

Они, как потом говорили бабы, выпили целую четверть самогона, ворвались в Народный дом, передрались там, побили стёкла и стали громить библиотеку. Когда мы с дедом проходили мимо, парни начали прицельно метать в нас книги – одна угодила мне в плечо. Дед обхватил меня и прижал к себе. Несколько книг попали в деда. Мы спешили уйти и шли, как нам казалось, быстро, но трое нас догнали. Один заорал:

– А-а, да это Кабатчик! Мироед! Кабатчик, Кабатчик, дай вина!

Двое схватили деда за руки, а один, приговаривая отдельно: «Ка-бат-чик, Ка-бат-чик...», непрерывно бил деда по голове толстой тяжёлой книгой с серебряными застёжками. Бил, пока дед не упал. А я в них плевался, плакал и молотил воздух кулачишками.

Наконец они отстали. Дед лежал в пыли, я плакал над ним, гладил его, стоя на коленях.

Его лысина была в крови. Вот так (может, это вспомнилось мне и не к месту) била по голове целых двадцать пять лет моего друга Киша Герасимова, когда он возвращался домой после встречи с друзьями, его верная «кастрюля» – жена. Била словарём Ожегова, приговаривая при этом: «Ах ты, интеллигент проклятый!»

Дед еле поднялся, и, потрясённые, пошатываясь, мы поплелись по улице.

Недели через три дед скончался. Перед смертью, будучи в полном сознании, он попросил:

– Положите мне в гроб Монтеня. С ним легче будет на том свете. А может, я с Мишелем и повстречаюсь. Будет о чём потолковать. Этот свет, я слава те, одо...

На кладбище меня не взяли. Я проводил деда до расстаней, где дорога раздваивается: один просёлок ведёт в тёмный лес, там тихо, покойно, там печально кричит иволга, стрекочет сорока, снуёт между деревьями нарядная сойка, дятел-красавец долбит берёзу, а кукушка отсчитывает кому-то остатние, как говорила бабушка, годы; другой просёлок – светлый, он идёт через покатые холмы большого-пребольшого поля и теряется в бледно-сизой дали, среди сосновых лесов, этот просёлок – дорога в мир иной. Над полем поёт жаворонок. Своею трелью он неутомимо сверлит фарфоровую сферу небес в надежде проделать в ней маленькое окошечко, чтобы Кто-то Оттуда взглянул на грешную землю и пожалел глупых её обитателей.

## Уроки немецкого

Она, эта речь – непонятная в *их* дружеских, казалось бы, разговорах, которые они вели между собою (я имею в виду немецких солдат), когда останавливались в деревне на Frühstück, Mittagessen<sup>5</sup> или на водопой, останавливались бесконечными обозами из фур с невиданной величины колёсами (и в каждую фуру, помню, впряжена была пара битюгов – типичных немецких Pferd'ов<sup>6</sup> с лоснящимися крупами и начисто срезанными гривами и хвостами), – эта речь этих солдат с непроницаемыми лицами напоминала перебранку деревенских кобелей.

Солдаты навешивали битюгам на их мрачные морды брезентовые торбы с овсом, а я стоял с разинутым ртом и всё на них глядел, на этих неожиданных пришельцев, каждый день глядел, стараясь понять, о чём они толкуют на своём странном языке. Иногда кто-то из них подманивал меня пальцем – дескать, komm her, Knabe, то есть подойди, мол, шкет, и, указывая тем же пальцем на небо, чёрное от их аэропланов, которые с каким-то неустойчивым, качающимся, но грозным подвыванием летели и летели на север, говорил, осанисто подбоченясь:

– Nach Petersburg!<sup>7</sup>, – и совал мне в руку такой толстенький, примерно с ружейную гильзу десятого калибра, «патрончик» кисленьких немецких леденцов. А зачем солдатам леденцы? Я думаю, посасывая мятные конфетки, немцы отбивали тем самым неприятные запахи изо рта – неизвестно ведь, чем они питались, а главное, что пили в безумном своём походе на восток!

Вообще же, как я позднее понял, пахло от них от всех одинаково.

Я мог бы и в кромешной темноте – случись такое – определить, кто же ко мне приближается – русский или немец.

Русский дух – это смешанный запах дёгтя, деревенской бани, конской сбруи, махорки и, естественно, самогона. О немецком Фридрих Ницше сказал примерно так:

---

<sup>5</sup> Завтрак, обед

<sup>6</sup> Лошадь

<sup>7</sup> На Петербург

немецкий дух (собственно, прусский) – продукт несварения желудка. К этому добавлю: с сильным запахом порошка для истребления вшей. Безудержный Drang nach Osten<sup>8</sup> не оставлял им времени особенно-то размышлять в банях, а порошок от паразитов – верное средство борьбы с главным врагом любого солдата-фронтовика.

Носителями такого запаха были и два унтер-офицера, которые вселились в наш дом и жили в так называемой холодной его половине вместе с двумя свирепыми овчарками. Овчарок они на день навязывали возле крыльца. Я ничего плохого этим псынам не сделал, но они почему-то люто меня ненавидели и готовы были разорвать на куски, едва лишь я делал попытку высунуть на улицу нос. Но это же невыносимо, сидеть в осаде! И как же я страдал, пока не додумался выбираться на волю через окошко в чулане: вылезу, спущусь в огород по деревянным поперечинам бороны, прислонённой к задней стене дома, – и был таков!

А когда однажды эти два молчаливых фрица (они и между собой не разговаривали) вывели своих злющих псин со двора потренироваться – по команде поползть, попрыгать через изгородь, полежать, посидеть, я вышел наконец-то из дома по-людски и из чистого любопытства приблизился к собачьему тому полигону за нашим домом.

Стою, в носу ковыряю.

Овчарки творили чудеса, они были на удивление послушны и делали всё, что им приказывали хозяева. Я таких дисциплинированных собак никогда не видел. А вот что за службу они несли у немцев, сказать не могу. Может быть, их натаскивали на ловлю партизан? Возможно. Выучка у них была поразительной!

Но я таки в носу доковырялся.

Один унтер скомандовал: «Faß!»<sup>9</sup> Другой, ему вторя, крикнул: «Vorwärts!»<sup>10</sup> – и зверюги ринулись в мою сторону. Я даже не успел толком испугаться, но среагировал

---

<sup>8</sup> Стремление на восток

<sup>9</sup> Взять!

<sup>10</sup> Вперёд!

вмиг и, сверкая пятками, бросился к нашему сараю. Едва в голове мелькнуло: «Ноги мои, ноги, несите мою жопу!», как я в сарае и очутился, захлопнул дверь и накинул кованый крючок.

Но к-как они кидались на эту хлипкую дверь! С каким яростным рычаньем! С каким лаем! Чуть вспомню сейчас, давление подсакивает. Думаю, дверь бы не выдержала их бешеного натиска, если бы немцы вовремя не крикнули овчаркам: «Zurück!»<sup>11</sup>

Однако унтер-офицеры вскоре от нас съехали. Не знаю, что послужило тому причиной. Возможно, их перебросили в другой населённый пункт – ловить партизан, пугать ребятишек или же как-то более основательно бороться с врагами рейха, а возможно, тут сыграло свою роль и не очень корректное, как принято теперь говорить, по отношению к унтер-офицерам вермахта поведение моей Großmutter Barbara, то есть бабушки Варвары. Она им частенько говорила открыто: «Ну что, окаянные немые? Ужо вам дадут перцу!» Или на глазах у этих угрюмых собаководов колотила коромыслом незадачливых рядовых из очередного обоза, без спросу впёршихся в огород за огурцами. «А что, у вас в Германии все так делают? А ты попроси, попроси! – приговаривала бабушка, охаживая коромыслом какого-нибудь Ганса или там Михеля. – Чай, язык не отсохнет. Мне огурцов не жалко. Вы же всё тут у меня перемяли, перетоптали сапожищами!»

Справедливости ради надо сказать: рядовые из обоза бабушкины удары коромыслом воспринимали как щекотку. Они отмахивались от неё со здоровым молодым смехом: «Entschuldigen Sie, bitte, Mutterchen!», что в переводе, как я думал, означало: «Простите, матушка, мы больше не будем!»

Много чего я тогда усвоил в области лингвистики. Но не только. И мне всё это пригодилось, честное слово! И не далее как лет через шесть – в мужской школе-семилетке на Фонтанке, когда я начал, и осознанно, и по принуждению, изучать немецкий язык.

У нас учительницей немецкого была худощавая, по-моему, красивая, много, по всему, на своём веку испытывавшая и потому несколько неуравновешенная женщина – Ирма

---

<sup>11</sup> Назад!

Ивановна Ланге. Ей было чуть больше тридцати. И даже совершенно седые волосы её не старили, тем более что она умела их укладывать. И вообще вся она была такая элегантная – никакого сравнения с другими училками.

Она, помню, всё пыталась в занятые озорными помыслами головы уличного хулиганья внедрить хоть какие-то понятия об этике. «Восхищаюсь, – говорила она, – безупречным внешним видом и почти аристократическими манерами Толи Головина и 7 «в». Обратите внимание, какой это воспитанный юноша». А с Толей я жил в одной квартире, он был моим защитником и покровителем. Действительно, всегда аккуратно одетый, он при встрече со старшими вежливо здоровался, непременно замедлив шаг, с изящным наклоном головы. Он и Ирма Ивановна, что там говорить, и до сих пор служат мне образчиками достойного, в общем, поведения и хороших манер.

Как сейчас помню зелёное вязаное платье Ирмы Ивановны и зелёный же, в тон платью, футляр от зубной щётки – в нём она хранила вставочку и красный карандаш... Вот она, помню, держа в длинных тонких пальцах этот футляр, после того, как мы, грохоча крышками парт, вскочили и замерли, произносит для нас уже привычное: «Guten Tag! Setzen sich, bitte!»<sup>12</sup> И оборачивается к доске...

Впрочем, обо всём по порядку.

К тем самым унтерам, которые у нас жили, раза три в день являлся молодой немец Курт. Он приносил какие-то бумаги. Не знаю откуда. Может быть, из штаба. Думаю, он служил писарем. Ну да, точно, он был Schreiber, причём хорошо вышколенный Schreiber.

Прежде чем войти в дом, Курт стучался и, приоткрыв дверь, спрашивал: «Darf man hinein?»<sup>13</sup> Если слышал в ответ: «Hinein»<sup>14</sup>, входил, замысловато козырял и докладывал унтерам, зачем пришёл. Когда унтеров не было, Курт не козырял и ничего не докладывал, он только, щёлкнув каблуками, делал короткий приветственный кивок непокрытой

---

<sup>12</sup> Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста!

<sup>13</sup> Можно войти?

<sup>14</sup> Войдите

головой тем, кто в доме находился (до сих пор не могу понять, когда Курт успевал сдёрнуть свою пилотку?)

По-русски Курт не знал ни слова, зато хорошо понимал язык жестов. Бабушка его жалела. «Какой молоденький! – говорила она. – А ведь убьют сопляка! Господи, спаси и сохрани его душу». Бабушка несколько раз пыталась угостить Курта молоком и лепёшкой из ржаной муки, но тот неизменно отвечал решительным «nein»<sup>15</sup>.

У нас был кот-бандит, чёрный-чёрный, по кличке Цыган. И вот этот Цыган сожрал тушёнку, которую унтера опрометчиво оставили на столе в открытой банке.

Бабушка испереживалась: «Господи, немые ещё подумают, что это мы позарились на их консервы. Господи, ну как им объяснить?» И тут пришёл Курт.

Как только бабушка, держа за шкуру перепуганного кота, показала на пустую банку и произнесла единственное немецкое слово, которое она неизвестно откуда узнала, «fressen»<sup>16</sup>, как Курт, сделав понимающее лицо, засмеялся: «Da ist der Hund begraben!»<sup>17</sup> и закивал: «Ja, ja, Großmutter Barbara! Ich verstehe, ich verstehe»<sup>18</sup>.

Он растолковал затем унтерам, что стряслось, и, по сути, избавил нас от больших неприятностей. А я вот ответил ему чёрной неблагодарностью.

Унтера тогда у нас ещё жили.

Выпал первый снег – он валил всё ночь и всё утро. Я на улице лепил снежную бабу, когда появился Курт. Махнул мне рукой: «Guten Tag!»<sup>19</sup> – и пошёл доложиться. Унтера,

---

<sup>15</sup> Нет

<sup>16</sup> Жрать

<sup>17</sup> Так вот где собака закрыта!

<sup>18</sup> Да, да. Бабушка Варвара! Понимаю, понимаю.

<sup>19</sup> Добрый день!

помню, немедленно собрались и вместе с овчарками (schnell-schnell<sup>20</sup>) отправились на какое-то «дело», а Курт остался возле нашего дома. Ему почему-то было весело. Он слепил снежок и запустил им в меня. Я ответил. То есть мы затеяли игру, знакомую, как видно, и в Германии. Курт оказался и ловчее и «скорострельнее». Он обрушил на меня такой шквал «огня», что я занервничал и начал злиться: «Ну, гад, счас я тебе устрою!» Закатал в снежок большой обломок сосульки, сорвавшейся со стрехи, подождал-подождал, подобрался, закрываясь локтем, поближе к Курту, шажок за шажком, ещё ближе (если бить, так бить наверняка!), примерился и – ах! «залимонил» ему этим «бронбойным» снежком в рыло. Курт рассвирепел. Лицо сделалось багровым, и весь он напряжился. Я подумал: вот сейчас он меня убьёт! Я очень перепугался, ей-богу! И, ноги в руки, поспешил сделать от него «лататы». А он крикнул мне вдогонку: «Scheiße!»<sup>21</sup>, прижал руку в кожаной перчатке к правому глазу и пошёл прочь. Сейчас бы мне, вспоминая тот случай, надо бы сказать: «Так мы били вас в Сталинграде!», а не могу, язык не поворачивается, и я до сих пор чувствую себя перед ним виноватым. Это же чувство шевельнулось во мне и тогда, в школе на Фонтанке, во время урока немецкого языка. Мы его только-только начинали изучать и едва усвоили алфавит, ну и кое-какие расхожие слова.

Я в тот день был дежурным. Когда вошла Ирма Ивановна, я стоял у доски с тряпкой в руке. Класс бесновался, словно это был не класс, а обезьянник, а я стирал с доски всякие рожи и непристойные надписи. Всё стёр, не успел стереть единственное слово – «Гитлер!».

После ритуала приветствия, когда класс – почти сплошь послевоенная безотцовщина – с шумом уселся, Ирма Ивановна посмотрела на доску.

– Mein Gott!<sup>22</sup> – воскликнула она с какой-то непередаваемой интонацией отчаяния и печали, чуть ли не со слезами в голосе. – Mein Gott! – футляр от зубной щётки зелёным

---

<sup>20</sup> Быстро-быстро

<sup>21</sup> Говно!

<sup>22</sup> Боже мой!



целлулоидным попугаем взметнулся вверх, грохотнув вставочкой и карандашом во чреве – совсем как та игрушка-погремушка для грудничков, – и замер в её сухоньком кулачке.

Ирма Ивановна покраснела мгновенно, и лицо её исказилось.

– Как вам не стыдно! – прокричала она, с ненавистью глядя мне в лицо. – Вы хотели меня оскорбить, и вы этого добились! Советские солдаты подобрали в развалинах поверженного Берлина маленького щенка. Приютили. Стали придумывать кличку, и кто-то предложил: «А давайте назовём его Гитлер». – «Зачем обижать пёсика», – возразили все остальные. А вы... А вы... – Ирма Ивановна побледнела.

– Но это же не я написал! Я – дежурный.

Лицо Ирмы Ивановны внезапно позеленело, и вся она вдруг стала зелёной-презелёной, как гусеница на капустном листе, а голос её поднялся аж до визга:

– Вон из класса! Немедленно вон из класса! – И она принялась изо всех сил плашмя колотить футляром от зубной щётки по столу. – Убирайтесь вон! Neraus!<sup>23</sup> Или уйду я!

Онемевший было класс, это сборище засранцев, вдруг загомонил! Всех словно прорвало. И все прониклись сочувствием к учительнице, и все осуждали меня:

– Ну выйди, чего там! Вали, и всё! Упёрся, баран!

Смахнув слово «Гитлер!» с доски, я вышел, в недоумении пожав плечами. Закрывая за собою дверь, услышал повтор того, с чего начинался сегодняшний урок:

– Guten Tag! Setzen Sie sich!..

«Всё дело в восклицательном знаке, – подумал я. – Если бы его не было после слова «Гитлер», ничего бы и не произошло. Из-за восклицательного знака она как взбеленилась. – И тут я вспомнил выражение Курта: «Da ist der Hund begraben!» – Вот именно! Здесь она и зарыта, эта дохлая собака! И как же я опростоволосился-то! В первую очередь надо было стереть это поганое слово!»

---

<sup>23</sup> Вон!

Я подошёл к окну, осознавая себя полным балбесом. Кто написал слово «Гитлер!» – неважно. Виноват-то в конечном счёте я, поскольку Ich bin heute Ordner<sup>24</sup>.

За окном на набережной Фонтанки возле чудовищной груды гранитных блоков, протянувшейся от чугунных сфинксов с проломленными спинами у въезда на рухнувший лет сорок назад Египетский мост до моста Калинин, еле-еле копошились серые, какие-то, как мне показалось, помятые фигуры военнопленных. Немцы. Они забуривали пневматическими перфораторами и обкалывали с помощью кувалд и железных клиньев и обтёсывали отбойными молотками и зубилами те гранитные глыбы. (Эта их каторжная работа воплотилась позднее в облицовке набережной Обводного канала.)

Я подумал: «А вдруг там, в безликой массе полуголодных, как, впрочем, и все мы, несчастных людей с повязками «в/п» на руках вот сейчас, сию минуту, когда меня выгнали в коридор с урока немецкого языка, тяжело, с обречённым видом вздымает пудовую кувалду Schreiber Курт, некогда подтянутый, даже щеголеватый немецкий юноша, которого так жалела моя Großmutter Barbara, Царство ей Небесное! Курт, прости меня за этот снежок. Я, наверное, действительно Scheiße». Так я подумал, и образ Курта, непонятно почему, слился вдруг в моём сознании с образом Толи Головина.

«Ирма Ивановна – человек воспитанный, и она уже успокоилась, – подумал я. – Не назовёт же она меня Scheiße, а если и назовёт – что ж в этом страшного?»

Я приоткрыл дверь в свой 3 «а» класс, просунул в щель голову и спросил неожиданным для меня звучным баритоном:

– Darf man hinein? – и, не дожидаясь ответа, вошёл, одёрнув «москвичку». Все засранцы вылупились на меня с разинутыми ртами, и рты их были похожи на нули – сорок нулей! А Ирма Ивановна Лаге, какая-то внезапно окаменевшая, посмотрела с непонимающим, я бы даже сказал, туповатым выражением.

Я щёлкнул каблуками и резко, почти «по-куртовки» и слегка «по-головински» кивнул головой:

---

<sup>24</sup> Я сегодня дежурный

– Darf man hinein, Ирма Ивановна?

Безотцовщина обалдела, а мне сделалось смешно. Чтобы скрыть улыбку, я склонил голову и вновь щёлкнул каблуками.

– Entschuldigen Sie, bitte<sup>25</sup>, Ирма Ивановна, – сказал я, не поднимая головы.

А когда я её поднял, то увидел просветлённое лицо учительницы немецкого языка и её зелёный футляр от зубной щётки, прижатый к груди.

– Да, конечно, разумеется, пожалуйста. Nehmen Sie, bitte, Platz!<sup>26</sup> – И она, интеллигентски как-то скособочась, отвернулась к доске и, вытянув из рукава зелёного платья кружевной платочек, промокнула им оба глаза и затем, не оборачиваясь, с мелом в руке, словно бы в раздумье остановившейся в воздухе, сказала дрогнувшим голосом: – Achtung!<sup>27</sup> Продолжаем урок.

### **Киш Герасимов**

– Завтра будет Рождество, – сказал дед Герасим, – большой праздник.

Этим он Киша и разбудил.

– Деда, – сказал Киш, – знаешь, деда, давай я тебя поцелую. Колючий! Почему же бородку не бреешь? Нечем? А что ты мне подаришь к празднику?

– Гли-ко, Кирюша, каки лапоточки сплёл, понимаешь, лыковы, брат ты мой милачо́к.

– А онучки-то ёсть?

– И онучки, гли-ко. Теплы онучки, фланелевы. А оборочки-то у лаптишек, гли, каки прочны, век сносу не будет. Кожа, брат, сыромятна. Что ты!

---

<sup>25</sup> Извините, пожалуйста

<sup>26</sup> Садитесь, пожалуйста!

<sup>27</sup> Внимание!

Киш протёр кулачишками глаза.

– А ты, деда, стрелочки-то для моего лука смастерил? Я ведь на охоту пойду.

– А как же. Ровненьки таки, сосновеньки. Наконечники – из немецких пуль. Я свинец из их , знашь, выплавил в чугу́нке . Одна-то пуля али две, а то, поди, и все три зажигательны али трассирующши оказались – такой, Кирюша, фейерверк получился, Господи, спаси.

– Красиво было?

– Куды с добром. Бабушка Маша так меня шуганула – ой-ёй.

Дед Герасим, отец Кирюшиной мамы, с сыном Егором Герасимовичем, бывшим лесником, жил в соседней землянке. Жил он с семьёй сына, который на фронт не попал – и так три войны отмантулил, навоевался всласть, да жил ещё с любезной сердцу его по гроб Марией Владимировной, или бабой Машей. Её потом угнали каратели в Германию. В родную деревню Холуницы пошла она из лесу за картошкой, а тут немцы нагрянули. Так и не вернулась. Дед плакал неделю, хотел руки на себя наложить...

Он был очень добрый, Киш его любил и, когда кто спрашивал: чей, мол, ты, Киш, отвечал: Герасимов. И имя Киш сам себе придумал, сократив имя Кирюша.

В землянке, вырытой дедом, жили Киш с мамой, тоже Марией, старшей сестрой Алей, двоюродным братом Валетом, Валетовой мамой Александрой Герасимовной, её свекровкой бабкой Ленкой и свекровкой мамы Марии – Варварой, седовласой, с лицом строгим, резко очерченным, таким, какие бывают у вождей ирокезов. Бабе Варваре очень бы к лицу была курительная трубка – Киш видел этих вождей в книге , которую читали на гул, то есть вслух, в землянке при свете лучины. Бабы Варвары побаивались – она была знахаркой и могла кого хочешь вылечить, а могла якобы и порчу навести. За её спиной говорили шёпотом суеверные бабы: «Колдовка – Варвара. Не приведи, Боже, её прогневить». Киша бабушка пестовала, опекала его, и потом, спустя много лет, когда косточки бабки Варушки, как звал её Киш, истлели в земле, Киш осознал в себе некоторые знахарские способности.

Он мог, оказывается, заговаривать кровь, отучать от пьянства, снимать головную боль и излечивать прочие недуги, и он знал травы и умел их применять – не во вред, а только на пользу. Эти способности как-то неявственно проявлялись у него и в детстве.

Когда Киш стал уже Кириллом – с отчеством, положением, образованием, даром крепкого «письменника» (так он о себе полагал), мысленно именовал себя, как и в молодые годы, Кишем и творения свои подписывал так: Киш Герасимов.

Рассказы те находили на него, как сон наяву, как видения, независимо от него, как чуть ли не откровения, ниспосланные свыше. Когда это случалось, он чувствовал необъяснимое беспокойство, не находил себе места, бродил по улицам Петербурга и, порой, запивал. И часто в пьяном сне проборматывал и даже прокрикивал целые абзацы и диалоги накатившего на него сочинения.

В такое время он вполне мог попасть под машину или угодить в милицию, из которой, впрочем, скоренько выходил, – как-то очень уж чудесно и странно, что и сам диву давался; и он хотел, силился, но никак не мог уразуметь: почему же старшина в бронезилете, с укороченным автоматом на правом плече, с буквами ОМОН на камуфляже, пред тем грозно рыкавший на него, как-то уважительно открывал дверь сваренной из арматурных прутьев клетки и выпускал на волю – спокойно, как будто бы так было и надо; не иначе, а именно так. «Идите», – говорил старшина. Нет, не «Иди!», а именно так, спокойно в повествовательной форме: «Идите», иногда даже: «Идите с Богом».

И в такое вот вневременное время буквально осязал Киш темечком , как входит в него сверху нечто незримое, но и светло-пресветлое, и у него раскрываются глаза, и он видит далеко-далеко, и он постигает прошлое, сущее и грядущее, и он может объяснить кому бы то ни было секреты жизни земной – прекрасной, несмотря ни на что... Он называл это иллюзионном, такое состояние как бы бытия-небытия, растворенности в пространстве, превращения себя в мысль и чувство, а то, что в него входило помимо воли, – называл наитием.

Дед Герасим ушёл, вероятно, лучину щепать из сосновых чурок. Где-то подобрал дед немецкий тесак в ножнах. Им и орудовал. Но с оглядкой: мало ли... По лесу ходили вооружённые партизаны, а всяк человек с оружием, известно, – власть. Привяжется: зачем

да откуда? В гражданскую, когда белые с красными туда-сюда шастали, дед саблю в поле нашёл – полезная вещь в крестьянстве: веники те же заготовливать, ой, способно. Так ведь затаскали деда – кто-то доказал. А хорошая была сабля.

Киш похлебал «квасу» – разболтанной в воде натёртой редьки – и махом выдул кружку молока.

Бабушка Варвара спросила, когда Киш перекрестился на образ Серафима Саровского (ну до чего же и на этого святого похожа бабушка Варушка! Господи, помилуй!):

– Ну, а теперь куды наостривши? На коньках на речку? Наши-то все эвона дровы пилют... Эта чугунка окаянная столь дров жрёт, успевай подкладывать.

– Не, – Киш помотал головой, – я на охоту пойду. Завтра Рождество. Деда сказал: праздник, а к празднику полагается жаркое.

Бабка Ленка хихикнула:

– Охо-хотничек! Лосика бы нам подстрелил.

Киш ловко обернул ноги мягкими онучами, обул новенькие лапоточки, подхватил лук да стрелочки в берестяном колчане. Бабки благословили Киша известным жестом, пожелав в один голос удачи.

– Да ну вас! – отвечивал Киш.

На лыжах, дедовом «рукоделии», направился Киш на поиски добычи – тетерева там, дремлющего на берёзе, куропатки, притихшей в рыхлом снегу, а то и зайчика, притаившегося в молодом ельнике. А перед тем заглянул Киш к корове, молочной пеструхе с красивым именем Венера. Приоткрыв дверь сараюшки, ладно смастыренной дядей Егором из еловых жердей и «обшитой» несколькими слоями лапника, Киш просунул голову в этот лесной хлев:

– Венера!

Корова повернула к нему свою большую, наполовину белую, наполовину чёрную комолую башку, потянулась к мальчику и выдохнула вместе со струёй тёплого воздуха задумчивое:

– Му-у-у.

Её телёночек, такой же, как мама, пёстрый, однако же по-детски нескладный, поднялся с зелёного лапника на шаткие свои ножонки и тоже, чертёнок, мукнул и головочку отвернул, будто бы засмушался. Киш сказал ему:

– Дурачок. Это ты так поздоровался. Понял? Вежливый, значит. Я вот тебе на Рождество имя придумаю. Дядя Егор просил. Хочешь, Вежей будут тебя величать? А?

– Му-у, – сказал бычок.

– Ага, – обрадовался Киш. – Нравится. Ну, мне некогда тут с вами тары-бары растабаривать. Я на охоту иду.

Было тепло. Киш бы сказал «жарко». Он быстро скользил по пушистому снегу на своих самодельных лыжах – пар валил изо рта. Далеко-далеко, кажется, за тридевять земель, уже высунулся ломоток красного по-зимнему солнышка из-за синих зубцов сказочного леса. М сказочно же сияли на снежных шапках, укрывавших пни, изумруды и бриллианты, всеми мыслимыми и немыслимыми цветами сияли и сверкали волшебные эти драгоценности. Так в книжках пишут. Киш сам уже умел читать – только медленно. Чаще – ему читали. У них в землянке целая библиотека собралась – из деревни наносили книжек. Там и сказки, и стихи, и такие серьёзные вещи, как «Робинзон Крузо» и «Пятнадцатилетний капитан».

Киш побывал уже и Робинзоном и Диком Сендом. Сейчас он был как бы самим собой – Кишем, отправившимся на охоту. Надо же народ как-то накормить, хотя бы на Рождество. Ни и до чего же этот, как его, Джек Лондон догадливый – его, им самим придуманным, именем – Киш – назвал своего Киша в сказании о Кише!

Тот тоже ходил на охоту, приманивал белых медведей (Кирюша помнит этих зверей, его оторвать не могли от ихней клетки в Ленинградском зоопарке), приманивал тот Киш медведей этих шариками из тюленьего жира, а в шариках был скрученный китовый ус.

Жир в животе таял, ус распрямлялся, медведь охал-охал, и вот тебе: на, бери его голыми руками. Ему б, Кишу Герасимову, китовый ус достать, он бы выловил хоть лося, хоть лисицу. Как бы бабке Варушке пошёл лисий хвост на её вязаной шалине!

Киш представил себе бабку с лисьим хвостом на голове. Да ещё и с трубкой в зубах, и рассмеялся так, что снегири с рябинового куста – пырх и промелькнули мимо розовыми шариками. Будто их и не бывало.

Да, шарики... А какой он, китовый-то ус? Киш видел в книжке про «Конька-Горбунка» чудо-юдо рыбу-кит, но без усов. Да где этого кита сыщешь, в каком таком море-окияне? У деда Герасима – усы и борода, у дяди Егора – усы щёткой... А толку? Эткими усами даже не напугаешь кого-нибудь на Святки, ими только Киша щекотать.

Киш скользил да скользил по снегу на своих лыжках, иногда проваливался по пояс в сугробе, иногда цеплялся луком за ветки и шёпотом ругался: «У, окаянная сила!» Киш изучал следы: во, сорока проскакала, вон она пролетела, белобока, прострекотала, неприятно так, будто склочная бабёнка возле деревенского колодца; во, зайчишка маханул – ничего себе прыжок! во, оставила стежок на белом покрывале мышка-норушка.

«А стрелять-то, понимаешь, раз не в кого, хоть плачь!» – сказал про себя Киш.

Но у Киша настроение не портилось, он знал, он был уверен: без добычи не останется, она у него впереди. Он уже видел её, как будто бы она была за теми вон большими берёзами, – сидит там, уши прижав, заяц, и ожидает: вот Киш придёт и натянет тетиву лука.

Но за большими берёзами зайца не оказалось. Выйдя из лесу, Киш увидел белое поле, чёрный сарай на нём, две бабы в чёрных плюшевых жакетках, раскидывая по-куриному ноги, бегут к сараю, размахивают руками и визгливо причитают. А над ними немецкий самолёт с крестами. Низко летит. Ревёт. И стреляет. Из пулемёта – не иначе. Кишу показалось, что эта большая злющая птица обдала его ветром – снег взметнулся марлевой занавесью вдоль опушки леса, и строчки, строчки, строчки обозначаются снежной пылью совсем рядом с бабами.

Киш сунулся за толстую берёзу. А бабы в сарай.



Они, верно, в гости к своей родне правят, раз в плюшевых жакетках, и в руках у баб узелки с гостинцами, подумал Киш.

Ну да, через поле тропка намята от рычковских землянок к шилинским. Там, в лесах, целые деревни живут, незнакомые там люди, дядя Егор говорил, сузивши свои и так -то маленькие насмешливые глаза, что люди те на деревьях живут, в медвежьих шкурах ходят, глину едят и самогон гонят и ещё из опилок деревянную колбасу делают, а колёса у ихних телег квадратные, брат ты мой милачок...

Самолёт совсем низко пролетел над сараем. Как только крышу не зацепил? А потом завалился на левое крыло и пошёл на разворот. И блеснул на солнце, которое холодно глядело из-за синего леса, такого ненастоящего, как и снег, тоже сделавшийся от солнца синим и мятым, как простыня, вытащенная из чана с подсиненной водой и тотчас закоркшая на морозном ветру.

Киш изготовил к стрельбе черёмуховый лук.

А самолёт, деля новый заход, нудил и нудил над снежным полем гнусавым голосом.

И тут Киш ощутил, как у него заломило голову и вошло в темя что-то светлое-светлое, и он стал большим-большим, и что-то белое-белое – не перед глазами, а в нём самом – полыхнуло, и он увидел огонь и сарай в пламени, и почувствовал жар, и увидел тех баб в плюшевых жакетках и шерстяных платках.

Бабы, да и не бабы то вовсе, а девушки, сидят на сене, пригнув головы к коленям и прижав узелки с гостинцами к подбородкам. Одна из них – восемнадцатилетняя Нюрка. У неё, помнит Киш, большие сиськи: Киш очень удивлялся такому обстоятельству, когда мама привела его в баню из лесу в деревню Холуницы: Нюрка мылась там вместе с другими бабами. «Знаешь, какие у Нюрки сиськи, прямо как вёдра», – делился потом Киш своим наблюдением с дедом Герсимом, и дед долго над ним потешался. «Как вёдра, говоришь?» – дед смеялся так, что слёзы выступали у деда на глазах.

И крикнул тут Киш, большой-большой Киш, величиной с берёзу, крикнул громовым голосом, обернувшись к сараю: «Уходите скорее, смерть, уходите». На самом деле он и рта не раскрыл, ему показалось, видимо, что он громко кричит. Но он точно видел в

чёрном сарае плюшевых девок, и как они вострепнулись видел, и понеслись по снегу, увязая в нём и высоко вскидывая коленки. К лесу, к лесу, к лесу...

А самолёт меж тем, описав дугу, замкнул круг. И вот он уже поравнялся с Кишем. И Киш выпустил стрелу. А самолёт всё летит и летит, рыча и стреляя из пулемёта, и длинная огненная линия, прерывистая, прямая, выходит у него из-под брюха и упирается в сарай.

Сухое сено в сарае в одно мгновение вспыхивает. Дым и рыжее пламя из распахнутых ворот текут неудержимо, и почему-то вверх, на крышу, вот уж и по коньку бегают кривобокие кинжальчики...

Киш поворачивает голову вправо и видит совсем близко от себя, за берёзами да кусточками, плюшевых девок. Они тяжело дышат. Держа в зубах свои узелки, задирают юбки, садятся на корточки и начинают писать. Долго-долго и почему-то назад, как козы или коровы... С испуга, что ли?

Киш тут же снова становится маленьким – чуть больше своего лука.

Где заяц, думает Киш, где мой заяц? Поворачивается влево и под ёлочкой, недалеко от толстой берёзы, видит зайца. Заяц смиренно сидит, не ворохнется, положив длинные уши на спину.

...В землянке над Кишем смеялись весь рождественский вечер. А сидели за полночь при свете лучин. Смеялись по-доброму, и Кишу было хорошо. Они смеялись, вытирая слёзы. Смеялись, потому что выпили самогону. Дядя Егор – целый стакан. Было в стакане что-то похожее на воду из лужи. Дед Герасим да женщины только пригубили чуть-чуть, замахав при этом ладонями возле щёк – будто ос отгоняли. Ну а самые молодые пили морс. Закусывали картошкой в мундире, мочёной брусникой и жареной зайчатинной.

Чему же ещё они смеялись? Тому, что заяц, которого подстрелил Киш, попал в давно кем-то поставленный капкан и сидел в железках давно, он обессилел уже, должно быть, подумывал о вечном покое. Киш помог его обрести.

Киша сморило. Влезая на нары, он оглянулся и увидел ярко освещённый пламенем лучины лик Серафима Саровского и бабушку Варвару рядом. «Одно лицо», подумал Киш.

И Серафим, и бабушка, воздев десницы, благословляли Киша, Киш точно слышал два их голоса: «Христос с тобой!» Или это ему причудилось?

### **Праздник, который всегда**

Ой, помню, как же мне было весело-интересно в зимнем лесу, где мы скрывались от немцев в Рождество и в Святки, до самого Крещения, ей-ей, гуляла вся лесная деревня – старые, да малые, да женщины, считая и девчонок жидконогих.

Ряженные ходили в вывороченных шубах, колядовали, пели частушки под гармонь – всякую похабень, благо не узнать было, кто поёт: рожи у всех сажей перемазаны.

А жили мы, будто пещерные люди, в землянках с малюсенькими оконцами. И что за свет из этих оконцев, да ещё зимой! Жгли лучину. Спали на нарах, устланных соломой. Ели, что кому удалось захватить из дому, когда бежали от оккупантов. Больше – картошку в мундирах да с «квасом» – разболтанной в воде тёртой на тёрке редькой.

В лесу, слышно было, постреливали: немцы ли, партизаны? Кто их разберёт, а то совсем близко бухали разрывы. Это немцы нагоняли страху. Дым заметят: дало ли какой олух в тихую погоду затопит печурку среди бела дня – дым столбом до самого неба, далеко видать, ну, они и давай долбить из миномётов.

Мыла не было, соли и спичек.

Мылись щёлоком, ели без соли, а огонь берегли, как первобытные – в каждом очаге под слоем пепла тлели угольки в золе, их можно было раздуть в пламя, почти что по-ленински. Иные разы бегали по соседям – «за угольком».

Кто-то имел кресало – обломок напильника в паре с особым «кремневым» камнем и ещё высушенный мох, хорошо, если смоченный до просушки в керосине. Через сотню «чирков» кресало срабатывало и давало отменную искру, мох тогда затлевал, и его можно было раздуть.

Кто-то варил мыло из дохлых собак.

Кто-то гнал самогон.

Кто-то ловил зайцев в проволочные петли.

У кого-то была корова, у кого-то козы или овцы.

В общем, жили люди. И никто, насколько помню, не умирал. Убивали – да. Особо рискованных, когда они отправлялись «домой», в брошенную деревню – например, за картошкой в родной погреб, за другим чем ещё. А то в баню – святое дело: вши заедали: тут уж все становились рискованными. Бани топили, когда стемнеет, мылись ночью. И кто-нибудь обязательно стоял на стрёме: вдруг да нагрянут каратели. В основном это были свирепые эстонцы.

Я как-то долго не мог уразуметь смысла высказывания Андрея Платонова: русский-де человек – человек двойного действия, и в какую бы сторону дело не повернуло, он в

любом случае останется цел, а теперь вот, предавшись воспоминаниям, кажется, понял наконец.

Но ведь сколько этого человека погибло в годы конструирования нового общественного порядка! Особенно деревенского человека – мы же были крестьянской державой. Десятки и десятки миллионов!

Деревня подпитывала города свежей здоровой кровью, она сообщала им особенную энергетику. Деревня пополняла ряды многомиллионной Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которую правильнее-то было бы назвать крестьянской-рабочей, именно эта армия выиграла войну.

И где теперь та деревня? Будто нарочно, будто по дьявольскому наущению делалось всё, чтобы истребить её: почва, мол, это, грязь, навоз, тёмная, отсталая, реакционная сила!

Город мозги сушит соблазнами. Деревня учила трудолюбию.

А скольких Ломоносовых мы недосчитались!

Существовал, правда, небольшой просветик в этом деле: часть мест в вузах по разнарядке отводилась лицам крестьянского происхождения. Было такое? Было! А теперь что станет делать Иван, крестьянский сын, какими путями пробиваться к занятиям?

М-да!

Но я о празднике.

Жив – и уже хорошо, славно и распрекрасно!

В сорок четвёртом, зимой, донеслись слухи: гонят немцев от Ленинграда!

И скоро такой гром обрушился на Кириковский лес, где мы прятались в своих норах, – мы думали: вот-вот и нас накроет каким-нибудь сумасшедшим снарядам. У наших с немцами шла артиллерийская дуэль. Столько деревьев в лесу перекалечило!

Наши мамы – моя и моей сестрички и мама нашего двоюродного брата решили: надо идти в совхоз «Новая жизнь» – там Красная Армия, а тут мы пропадём, пока бои идут к чёртовой матери!

Обе бабушки и дед Герасим – ни в какую: нам, мол, всё равно, где помирать, мы остаёмся.

И мы пошли, а идти надо было, я думаю, километров двадцать, считай через линию фронта.

А я ноги натёр, валенки у меня были фетровые, ещё из Питера. Я из них давно вырос. Пятки натёр – больно, не могу идти. Меня по очереди несли на закорках – я же самый маленький был. Ну, как маленький? Семь лет стукнуло. Сестричка и братишка на пять лет старше. Мне совестно было, и я ныл:

– Лучше б я дедушкины лапти обул.

– Дурачок, – мне говорят, – ты бы в них ноги отморозил.

Идём, идём, да всё лесом, да по сугробам. Кругом снаряды рвутся. Мамы наши говорят:

– Тут где-то Спиридоновна, дальняя родственница, живёт на хуторе.

Пришли на хутор: ни кола, ни двора, только гумно стоит.

– Она в гумне и живёт, – мама моя говорит.

Заходим. Дымок из риги сочится.

– Тут она, в риге!

А в риге землянка вырыта. Дым – из трубы.

Вместе со Спиридоновной коза и кошка живут в землянке. Лампадка там горит перед ликом Богородицы. Печурка топится, тепло.

– Устраивайтесь, гости дорогие, будем чай пить из мяты и зверобоя. Мята приятный запах даёт, а зверобой – цвет. Чай этот очень полезный для здоровья. Тут я сахарницу спроворила у Ванюшки Селезня, он к нашим ходил.

– И мы к ним идём, в «Новую жизнь».

– Да ну? А и правильно! Эвон гад как из пушек садит!

Ай, и сколь же это замечательно: пить горячий чай из мяты и зверобоя, да ещё и сладкий!

А Спиридоновна всё потчует и потчует:

– Пейте, пейте других-то угощений нет, прощения просим. Отдыхайте, вам долго идти. Где ещё та «Новая жизнь»? А я вот ребятишкам сказочку расскажу про Двухглазку, Трёхглазку и Четырёхглазку. Хотите, ребята?

– Хотим.

И как она начала приговаривать: «Спи, глазок, спи, другой, третий листиком прикрой», так сразу же я и уснул. И мне приснился генерал с орлиным взором – такого я в одной книжке видел. То ли Ермолов, то ли Багратион – не разобрать во сне. Генерал в белом кителе, вся грудь в орденах и звёздах, а одна звезда – семиконечная. Ну в точности такая, какую мне дед Герасим нагадал на Святки. Он в круглой луночке костыга, которым лапти ковырял, расплавлял на огне олово. «На кого гадаем?!» – «На меня, на меня, дедушка», – говорю. «Ну давай на тебя», – и дед Герасим вылил жидкое олово в ковшик с водой. Получилась семиконечная звезда. Это видно было особенно отчётливо по тени, которую она отбрасывала на занавеску. «Не иначе, быть тебе генералом, внук!» – сказал дед Герасим.

Вот эту-то звезду я и увидел на «моём» генерале во сне.

И тут, слышу, как будто бы кони бьют в стену конюшни копытами. Они так бьют, когда чего-то напугаются. А откуда они в гумне?

– Ой, – говорю, толком не проснувшись, – а где это кони?

– Это не кони стучат копытами, – Спиридоновна отвечает, – это осколки. К разрывам ты по привычке, а вот стука осколков никогда не слышал. Не бойся их, мы же под землёй схоронились.

А мой сон оказался вещим: в «Новой жизни» я увидел живого генерала.

Нас приютила Марина Константиновна, не знаю, кем она доводилась тому генералу. В бывшем барском особняке она отвела нам комнатёнку, наверное, когда-то это была людская, с условием, что наши мамы будут помогать ей по хозяйству и со стряпнёй.

Вид у Марины Константиновны был командирский, да и голос тоже. Понизив этот голос до шёпота и показав глазами на потолок, она сообщила:

– Там, в барских покоях, генерал остановился со своим холуём-адъютантом. И сразу же, но уже громко: – А генеральскому повару я не доверяю – с таким поваром генерал скоренько наживёт язву желудка, а здоровеньце у генерала пошаливает. У-у, ш-шельменко!

Она всегда так называла повара, хотя фамилия у него была другая: не то Шмелёв, не то Шмулёв.

Братишку Марина Константиновна отрядила колоть дрова, а мою сестрёнку определила делать, как она сказала, ежедневную влажную уборку в покоях товарища генерала.

Я сестре помогал – носил в ведёрке воду из колодца.

Раз прихожу рано утром, а она с мокрой тряпкой под бильярдным столом. Дрожит.

– Генерал, – говорит, – чуть свет проснулся и так орал на своего адъютанта, что я перепугалась и залезла под стол. Тут же совсем недавно немецкий полковник жил, я с перепугу подумала, что это он. Смотри: вот видно через открытую дверь: генерал сидит в подтяжках и с намыленными щеками – адъютант его бреет.

С большой опаской поглядывая то на громадное зеркало, в котором отражается намыленное лицо генерала, – ну совсем, как лицо рано поседевшей обезьяны, – то на лезвие убийственно сверкающей в свете электрической лампочки (генерал, оказывается, возит за собой дизельную электростанцию) бритвы, адъютант нежно, ласково, почти по-матерински снимает со щёк генерала мыльную пену вместе со щетиной.

Снял.

Обречённо вздохнул. И салфеточкой аккуратненько убрал с генеральского личика остатки пены. Потом освежил моложавое, как оказалось, лицо одеколонцем, промакнул его осторожненько махровым полотенчиком.

Генерал повернул голову перед зеркалом туда-сюда. Остался доволен. Щёлкнул подтяжками. Встал. Кряжистый. Галифе с лампасами и ослепительно сверкающие сапоги.

– Короче! – бросил генерал, будто подал команду «Огонь!».

Адъютант принёс на подносе кофейник, налил кофе в фарфоровую чашку.

Генерал отхлебнул.

– Помои! – тут же взревел он и выплеснул кофе в лицо адъютанту.

– Виноват, – говорит. – Вероятно, молоко оказалось холодным. Не разогрели – в кухне плита холодная. Кофе я сварил на спиртовке!

– Повара! – рявкнул генерал. – Нет! Лучше Марину. Только она и умеет по-настоящему готовить кофе.

Ну, да и бог-то с ним, с генералом. Утро у него не заладилось: не с той ноги его начал.

Однако же «города сдают солдаты, генералы их берут».

Шло наступление.

Мы с двоюродным братом видели, как войска непрерывным потоком двигались и двигались мимо нас, подтягиваясь к какому-то неизвестному нам месту, чтобы ударить наконец по врагу. Генерал должен был взять Струги Красные.

– Там они окопались, сволочи, – сказал брат. – Наши Струги возьмут, а оттуда и до Пскова рукой подать.

А шли войска по раздрыганной дороге – грязь со снежной жижей вперемешку. Солдаты шли по колени в этом месиве. Полы шинелей подоткнуты. Размеренно шли солдаты: «чап-чап», неумолимо двигалась их колонна и по-крестьянски упорно и неутомимо. Лошади-битюги тащили пушки, кухни, повозки с солдатским барахлом. А сами солдаты несли на плечах ручные пулемёты Дегтярёва, противотанковые ружья, винтовки и автоматы ППШ, и они тащили за собой станковые пулемёты и выкрашенные белые лодки.

– Что за лодки?

Брат говорит:

– На них санитары раненых вытаскивают с поля боя.

Бабы из «Новой жизни», глядя на солдаткушек, плачут, я думаю, от радости, и, поминутно им кланяясь в пояс, осеняют крестными знаменьями.

Спрашиваю брата:

– А сколько до Пскова?

– Километров сто.

– Сто километров пешком?

– Ну!

– А из Пскова куда?

– На Берлин.

– А до Берлина сколько?

– Ну, – брат замялся, – ну, думаю, тысяч пять.

– Километров?

– Километров.

– И всё пешком?

– Пехота, – развёл брат руками, дескать, куда деваться.

– А Ленинград, значит, в той стороне?

– Да.

- Значит, мне туда возвращаться?  
– Туда.  
– Ой, скорей бы! – я почувствовал себя счастливым-пресчастливым и вполне ощутил, что это такое – жить!  
С этим ощущением и пребываю.

### **Вояж**

*Посвящается Глебу Горбовскому*

Как бы непроходима и дика ни была какая-нибудь местность, люди все равно превратят её в театр военных действий.

Амброз Бирс

Где-то там, далеко-далеко, может быть за тридевять земель, грохотало и ухало временами, но, кажется, всё глуше и глуше с каждым днём: война пятилась и пятилась от наших землянок в дремучем Кириковском лесу и от нашей дотла спалённой то ли немцами, то ли партизанами деревни. Рассказывали: одни трубы там торчат да сиротливые бани чернеют у подножия двух большущих холмов, на которых возлежала просторно деревня с красивым названием Яблонец. Я не мог себе вообразить, как ни старался, деревню, в которой вдоль улицы вместо обшитых тёсом домов с резными причелинами выстроились русские печи с высокими трубами – как будто бы из сказки про Емелю-дурачка. Как жить-то в такой деревне, скажите на милость?

Я спрашивал у всех:

– И те печки можно топить?

А мне отвечали одинаково:

– Ты, что ли, глупенький?



«Почему все считают меня глупеньким? – недоумевал я. – Какой же я глупенький! Я читать умею. А если печку натопить, то на ней и спать можно хоть целую ночь, накрывшись овчинным тулупом «Глупенький!» Новое дело!»

Мы с братом Вовой как раз и шли в эту самую деревню лесной тропинкой по глухим местам. И сколько же наломано было деревьев в лесу – словно бы тут буянил взбесившийся великан! Толстые, мне не обхватить, ели как-то по-дикому щерились свежими ещё совсем надломами и будто бы угрожали молчаливо чуть ли не самому небу.

– Вова, кто же их так изувечил?

– Снаряды.

– Какие снаряды?

– «Какие, какие»? Из пушек.

– А зачем?

– Бой шёл. Наши наступали – артиллерия палила по немцам, а те отвечали. Ты что, канонады не слышал?

– Слышал. Чуть не оглох. И снаряды над нашими землянками с воем летали. Так это, значит, они? Вон какое дело, мать дорогая!

– Ха-ха-ха! Чудак человек! – Брат нахлобучил мне на глаза «волчиную», как я её называл, шапку-ушанку.

Между тем лес поредел, снегу уже тут было поменьше, появились поляны с проталинами, и на них – зелёнькая травка. А где наши землянки – ещё большие сугробы, и снегу там – рослому мужику до пояса.

Тут нам навстречу выбежала серая в яблоках лошадь.

Вова удивился:

– Новое дело! Тпру! Тпру! – Он растопырил руки – должно быть, хотел её остановить, а она галопом проскакала мимо и скрылась за кустами. – Это же Юсси, ёлки-палки! Её колхоз купил перед самой войной у эстонцев в Печорах. Надо же! И простая...

– Какая?

– Простая. Ну, не спутанная, не стреноженная, без узды. От кого это она убегает?

– От волков.

– Какие волки! Волков война распугала.

Где-то совсем недалеко раздались четыре взрыва один за другим, как раз в той стороне, куда понеслась Юсси.

– Слышал? Ты думаешь, что это?

– Откуда я знаю!

– Это сапёры работают на разминировании. Понял? Мины рвут.

– Ну?

– А Юсси боится стрельбы и взрывов – в кавалерии не служила. Вот и сходит с ума, и носится как угорелая.

Мы вышли к дороге на опушке и увидели стадо – несколько исхудавших коровёнок даже и не пытались щипать травку, которая едва успела кое-где высунуться из талой земли. Они прерывисто, вытянув морды, обиженными голосами мычали на лесную чащобу, где они жили вместе с людьми в землянках и где их, наверное, неважно кормили.

– Му-у! – рыдали коровы, жалуясь на судьбу, и красивыми, однако же ничегошеньки не понимающими глазами посматривали на своего пастуха – мальчишку лет десяти-двенадцати в немецкой шинели с криво обрезанными полами и в будёновке с синей звездой. Когда мы приблизились, коровы перестали мычать и изумлённо на нас уставились.

– Привет, Николай! – Вова пожал пастуху руку. – Что это тут яблонская кобыла Юсси разбегалась?

А бес её душу знает! Сапёры на ней приехали. Давень проезжали на двух подводах. – Пастух протянул руку и мне. – Куд-да?! Я те! Зорька! Зорька! Какая нахратная! Вернись! Николай! – Так он мне неожиданно мне представился, и мы чинно обменялись рукопожатием. Я шмыгнул носом, а Вова похлопал меня по плечу:

– Это Толик, двоюродный братишка из Питера. Застрел тут, понимаешь, на всю войну.

– А-а! – уважительно протянул Николай и полез в карман шинели. – Ну что, ма́льцы, – спросил он, извлекая кисет, – может, покурим по такому случаю? Я у отца самосаду спёр. Табак – вырви глаз. У меня и бумажка есть. Эва! – Николай протянул Вова сложенную гармошкой засаленную бумагу для самокруток. – Умеешь сигарки вертеть? – Он показал на меня. – И ему сверни. Куришь?

Я пожал плечами:

– Могу.

Мы присели на корточки посреди дороги и задымили, как заправские курильщики. Самосад был едкий. У меня сразу от него засадило в горле, и закружилась голова. Я сказал:

– Мутит с непривычки.

Пастух засмеялся, а я развернул сигарку и ссыпал весь табак на ладошку:

– Забери, Николай, свой «вырви глаз», – и ссыпал табак в его кисет, а бумажку разгладил на коленке. Мать дорогая! С трудом разобрал старинные буквы на ней: «И пришёл в Капернаум, город Галилейский и учил их в дни субботние».

– Это же, – говорю, – из Библии! Бабушка мне читала.

– Ну! – Николай лихо высморкался одной ноздрёй. – А батя Библию пустил на самокрутки. Это, он говорил, Новый Завет.

– Боженька ведь за такое и покарать может, – говорю.

– Ничё! – Николай вскочил, щёлкнул кнутом и заорал страшным голосом: Зорька, такую твою! Куда?!

А мы с Вовой отправились дальше. Вове тоже табак не понравился.

– Ужо-ка будет ему порка за этот самосад, – сказал он про Николая. – Отец у него злой, всех в семье этот хромоногий Спиридон лупит когда выпьет, – и детей своих, и бабу, а Колька – самый младший, его тем более лупит.

– Спиридон?

– Ну кириковский мужик. Коновалом работал, ходил по деревням.

– Коновалом?

– Баранов, козлов, жеребцов, хряков выкладывал.

– Как это выкладывал? Куда?

– Вот чудак человек! Яички им вырезал.

– Зачем?

– А я знаю! Наверное, чтобы больше жиру нагуливали. Понял?

Мне этого было не понять.

Николаевы коровы снова начали рычать – как будто бы нам вдогонку, с нами прощаясь. Мы от них отошли уже на порядочное расстояние.

Тропка вела через поле, мимо четырёх берёз. Возле них лежал снег, и вдоль тропки тоже.

– Вова, – говорю, – я в уборную хочу. Помоги заплечный мешок снять.

– Новое дело! Только на тропке не вздумай устраиваться. По тропке люди ходят. Отойди вон к берёзам.

Я и отошёл по чьим-то давним следам на снегу. Присел, как полагается, снег перед собой разглядываю, смотрю: а из-под снега проволочные усики торчат, много, и все на одинаковых расстояниях друг от друга – как будто кто-то их тут нарочно понатыкал. Хотел подёргать один, а потом подумал: «Спрошу у Вовы». На тропку я выходил по тем же следам, и всё смотрел вокруг, и этих усиков с десятков насчитал. Сказал про них Вове. А он побледнел и начал озира́ться.

– Мать-перемать! – прошептал он дрожащими, совершенно белыми губами. – Тропка идёт по минному полю! И какой нечистый её протоптал?! Ступай за мной потихонечку, только не торопись.

И мы пошли, а Вова всё на меня оглядывается.

– След в след ступай, – твердит. – Теперь уже немного осталось.

Позади нас послышался глухой взрыв. Вова обернулся и сердито сплюнул:

– Сапёры!

В деревню мы пришли, когда уж совсем стемнело, и я не увидел пепелищ. Только чёрные трубы. Они были устремлены к звёздному, с полыхающими вдали зарницами тяжёлой артиллерийской стрельбы небу и были похожи на обелиски.

Мы устроились на ночлег в каменном доме возле знакомых мне узлов, которые Вова сюда много дней носил из нашей землянки. Народу здесь было – яблоку негде упасть. В прокуренном воздухе стоял степенный такой гам. Как в бане. Я лёг на полу на свой драный тулупчик и сразу же уснул. И мне всю ночь снилась серая в яблоках кобыла. Она медленно-медленно скакала по снежному полю... И вдруг: «Тпру! Тпру!» – «Ой, да ну вас! Не надо её останавливать, – говорю во сне. – Пусть скачет». – «Тпру! Тпру!» – «Отстаньте от неё, ради Бога!» – «Тпру! Тпру!»

Открываю глаза. Копилка. Вова трясёт меня за плечо:

– Толик! Толик!

– Ну чего тебе?!

– Поешь. – В руках у Вовы алюминиевый котелок. – На полевой кухне у сапёров спроворил. Я уже наелся, – он погладил себя по животу.

Беру ложку и хлеб, начинаю есть:

– С вермишелью! Очень вкусно! Никогда в жизни такого супу не ел, да ещё и с мясом!

– С кониной.

– Какой кониной?!

– Не догадываешься? Юсси на mine подорвалась...

*Было это в апреле сорок четвёртого, числа не помню, кажется в субботу.*

### **«Тятя! Тятя! Наши сети...»**

Все звали её Феня, она была страшнее страшного. Я никогда не видел, чтобы она спала. Она всё время сидела в своём углу на каком-то рванье, худая-прехудая, туда-сюда покачивалась и непрерывно чесалась. Из-под серого её платка торчали седые космы, а из-под них смотрели с маленького личика застывшие блёклые глаза. Она ни слова не говорила. Почему?

– Паралик, объяснил мне Паша Скобариха. – Речь затолнувши у беженки етой. – Паша поджала губы. – Не, не жилец она на етом свете. Не, не...

Феню подкармливали – жалели. Тут много народу жило, в большинстве бабы с ребятишками и старухи.

В каком лесу Феня скрывалась от немцев и с кем, то есть в чьих землянках, я не знал, да мне это было и ни к чему. И кто её из лесу сюда привёл, когда наши пришли с боями, – неизвестно. Какой-то месяц всего, не больше, мы тут жили скопом, в этом каменном доме – бывшем доме купца Лагутина.

– У-у! Богатый был! Шши какой, бес! – сказал Филя Жуликов, когда я спросил про купца. – Во Францию сбежал. А тебе нашто, какой любопытный питерский шпанёнок? Давно сбежал, шши когда красные белых побили. Не догонишь, х-ха!

Он был беззубый, плешивый и старый, этот Филя-бобыля, как иногда его называли. А почему Жуликов, никто не мог сказать.

– Жуликов и Жуликов, чего пристал! – отмахнулась от меня Паша Скобариха. Ето не фамилия. Ето Жуликов – и всё. А фамилия Смирнов.

Помещение наше было, как я соображаю, складским. Лабаз это был, вот что! Купец тут и товары хранил, и торговал, его лавка была через стенку, там тоже народу набилось – жить-то негде, вся деревня дотла сгорела, только бани остались да три гумна. И наверху, на втором этаже, в бывшей купеческой квартире, тоже много людей ютилось. Там, говорили, школа располагалась до войны . А внизу , сказал Филя Жуликов , «б́ыла купирация», то есть магазин. Он тут работал. «Служашшим был, карасин продавал, соль и спички, мыло, дёготь и хамуты, шши бредняк принимал от населения – дубильное корьё. На вес. От такое дело!»

Наверное, тогда, я думаю, он и стал Жуликовым.

Я давно проснулся, но делал вид, что ещё сплю. Маленькие ребяташки подскуливали и нудили: «Исть хочу! Исть хочу!» Старухи шикали на них зловещим шёпотом: «А чтоб тебе, нечистая сила!..» – «Исть хочу, исть хочу!» – «Разевай рот – я вскочу!» Какая-то баба рассказывала другой бабе, не «нашей» – это, по голосу, была Палага Чугунихина, она пришла к подруге с дальнего конца деревни, из своей «байненки, слава те Христу, уцелевшей», – в гости, и подруга её, кажется Дуня Коханка, подробно и каким-то загадочным, вещим голосом передавала содержание сна, который ей «был привидевши»:

– Сыночка видела, Палага, голубушка, Санечку своего, вот как тебя. Быдто обряжаюсь я, корову подоила, быдто бы мы ещё на хуторе живём. Вхожу это я в избу с подойником, а он стоит под божницей, родны наши! Голый стоит, как есть, а справа у него, под грудями-то, вот здесь, дырочка – от пули, видать. И говорит: мама, говорит, холодно мне, молочка парного налей. Вот Зорьку, говорю, подоила, ужо-ка процежу. А

он: мама, говорит, а у тебя в подойнике-то не молоко. Я и обомлела: как это так? Вода, говорит, мама, у тебя в подойнике. И пропал. А так явственно его видела! Смотрю на подойник, а в подойнике-то кровь, милая ты моя, целый подойник крови. К чему бы это? Господи, прости мою душу грешную!

– Живой он, Дунюшка! Только раненый, и к поправке дело идёт, раз есть захотел. Молока же просит! А под божницей стоял – так это Бог его бережёт.

– А кровь?

– Кровь – это завсегда к родне. Скоро увидите! Вот баба-то Марфа, её ещё Рузвельтом прозывают, она же всё раньше всех узнаёт, она говорила: наши-то почти всю Белоруссию освободили. Скоро война кончится.

«А почему голый? – подумал я, не открывая глаз, – Почему голый-то приснился?» – и сразу же вспомнил про утопленника.

Мне учительница Варвара Кирилловна велела повторять стихотворение. Она каждый вечер нас, ребяташек, собирает в своей бане, где живёт, и рассказывает страшные истории. Вчера рассказывала про графа-вампира и позавчера – про графа-вампира, а позапозавчера – про княжну Джаваху. Она говорит: скоро школа откроется, будете учиться с первого сентября, а к первому мая надо подготовить концерт. Кто какие стихи и песни знает, ребята? Я сказал: мне ничего этого не надо, я всё равно в Ленинград с мамой уеду. А она: ещё неизвестно, когда твой отец с войны вернётся и за вами приедет, да и ходят ли ещё пассажирские поезда на Ленинград. Я говорю: я не хочу в первый класс, я читать и так умею. А она: я тебя писать научу, а если знаешь какое-нибудь стихотворение, будешь выступать в концерте. Знаю, говорю: «Прибежали в избу дети, второпях зовут отца...» Хорошо, говорит, повторяй его каждый день, первое мая ещё не скоро, выступишь в концерте.

Я с вечера его повторял, мама проверяла – всё помню. Мне ещё три года было, мама сказала, а я его уже знал. Я ещё «Белеет парус одинокий» знаю – лучше бы его прочитать, оно и покороче, а Варвара Кирилловна говорит: не надо, оно печальное. А про утопленника что, лучше? Разве оно веселее? «Тятя! Тятя! Наши сети притащили мертвеца...» Любит Варварушка что пострашнее!



Тут я открыл глаза и увидел Феню.

Она отвалилась к стенке в своём углу – такая ужасная! Сидит и не покачивается, рот открытый, лицо серое-серое, глаза уже совсем неподвижные и стали как стекляшки... А по плюшевой пальтушке, которую она никогда не снимает, ползают вши, здоровенные, и много их – как будто бы ржи кто насыпал. «Не, она не жилец», – подумал я.

А вокруг плиты столпились, галдят и суетятся старухи и ребятишки, ругаются, причитают, смеются, еду стряпают и завтракают.

Филя Жуликов пальцем, вижу, меня манит. Одеваюсь. Да с каким удовольствием! Во-первых, тёмно-синие галифе со штрипками, во-вторых, голубой свитер, в-третьих, жёлтые сапоги с голенищами – как у взрослого мужика! Жаль, конечно, что жёлтые. Да и ничего – ваксой намажу, выпрошу у сапёров, которые тут в палатке живут и каждый день мины ищут. Мне три дня назад всё это дали, Варвара Кирилловна вручила, сказала: как сыну фронтовика, американский подарок. Филя Жуликов сапоги чуть увидел, сейчас же их общупал, помял, покрутил и зачем-то понюхал.

– Шши хороший товар, – сказал, – шши американский шкет не доносил – питерский шпанок доносит. Таких-то сапог надолго ли хватит, в аккурат до свадьбы, х-ха! А я вот всё в лаптях да в лаптях. Шши и дóбро – ходит легче. А давай меняться? Онучи из немецкой шинели в придачу хошь? Гляди. – Он ногой топнул, будто плясать надумал.

Сейчас он сидел на зелёном ящике из-под снарядов. На коленях лежал чугунок. Он воробьёв наварил с утра. Вот достанет тушку воробышка деревянной ложкой из чугунка и – в свою чёрную пасть. Х-хап! И нету птички. Вместе с косточками хрукает, а ведь какой беззубый! Он всё время питается воробьями и мне этих воробьёв суёт: «Угошшайся, вкусно-то как! Быдто рябчики. Как сейчас помню, помещшик Яликов их любил».

Знаю я в Филины «угошшения»! Раз как-то Митя Лиссев барана заколол – это мы ещё в лесу жили, – и Филе отдал внутренности и всякое, что самому не надо. Филя сварил в чугунке бараньи яички. Бабы кругом плевались и крестились, а он ел и нахваливал: «Царска пишша. В Испании, слышь, главное блюдо. Шши Яликов, я у него мальчонком коров пас, рассказывал, он тоже, не гляди, что барин, эту еду уважал».

И мне Филя её навязал попробовать, я попробовал – так меня, я еле успел из землянки выскочить, тут же на снег и вырвало.

Воробьёв Филя Жуликов ловит в гумнах – там горы старой соломы, и потому слетаются воробьёв видимо-невидимо – кормиться. Филя их ловит ситом от веялки, грохот называется. Хлебных крошек натрусит и грохот над ними пристроит – палочкой подопрёт, а к палочке верёвка привязана. Филя за угол спрячется, эти дурачки и рады, сами под сито скачут, а он за верёвочку-то дёрг. Тут и есть!

Филя мне говорит:

– Тут matka твоя кружку молока оставила, шши лепёшку и три картошины.

– Куда она пошла?

– Погнали, не глядя, что колхозница, с бабами трупы убирать.

– Какие трупы?

– Убитых. Какие ещё? Немцев и наших. Снег сходит, дни тёплые, солнце припекает. Шши пованивает уже. Ужли не чуешь? А их много, слышь, на полях. На Мельнишном ручью мостишка нету, шши танками разворотили, а тут и разлило – ни пройти, ни проехать. И какой-то хрен горелый удумал мертвяков натаскать – шши замостил, называется, по ним и ездят все. Не знаю, правду, нет ли, а говорят. Не слышал? – Филя оставил чугунок, вытер бороду и усы ладонью. – Х-ху! Пойдёшь со мной за трофеями?

– За трофеями?

– Видал, какую кучу ружей и автоматов трофейная команда наволокла? Шши караулит её сопливый солдатишко в обмотках?

– Трофеи?

– Трофеи. Может, и мы что полезное найдём. Цацки-бобки разные любишь, верно, а, питерский шпанёнок?

Я и сам хотел за деревню пойти, да компании не было. Мальчишки постарше всю округу облазали, но они меня с собой не брали: «На mine подорвёшься, а ну тебя!»

– Пошли, – говорю, дя Филя. Патронов наберём!

Я уже имел дело с патронами – у меня их было целое лукошко спрятано, я охотился за особенными – немецкими зажигательными с чёрным ободком на пуле. Такую пулю расплющишь на камне, она затлеет и воспламенит порох в патроне. Только отскочишь в сторонку и тут как бабахнет!

Я много таких насобирал в этот раз. Мы не так долго и ходили.

Филя подобрал фрицевскую шапку с козырьком и плащ-палатку. Шапку он сразу напялил и свой драный заячий малахай закинул на берёзу. А плащ-палатку свернул и сунул под мышку:

– Я из неё штаны сошью – сносу не будет.

Филя радовался и широко шагал, я еле поспевал за ним вприпрыжку. Шлёпаю по грязи жёлтыми сапогами, подпрыгиваю на ходу – и тоже радуюсь. И вслух стихотворение повторяю: «Прибежали в избу дети...» И всё на разные голоса стараюсь – как бы так, думаю, прочитав лучше, чтобы в концерте красиво получилось.

Филя услышал:

– Чё бормочешь?

– Стихотворение. «Тятя! Тятя! Наши сети притащили мертвеца...»

– А-а! Это и я помню. Шши меня за него на горюх в угол ставили в школе – я три зимы туда отбегал. Погоди-ка... О!

Ох, уж эти мне робята!

Будет вам ужо мертвец!

Мы поднялись с Филей на песчаную горку, снегу уже давно тут не было, весь стаял. Сухо. На горке старая сосна без вершины – снарядом оторвало. И напророчил же Филя!

«Будет вам уже мертвец!» А он тут и лежит под сосной – руки раскинуты, в белом маскировочном комбинезоне, в каске, в сапогах с отвёрнутыми войлочными голенищами... «Притащили мертвеца!..» Мне как-то не по себе сделалось. «Ты что, – успокаиваюсь, – покойников не видывал?!» Филя говорит:

– Шши вороньё тут пировало! Вон сидят на деревьях. Кыш, сволочи!

Где там...

– Эва! – вдруг восхищается Филя. – А бурки-то у него шши новёхонькие! Как будто вчера выдали. Хор-роший товар! – Он легонько коснулся лаптем ноги убитого немца. Эхма! С ремнями! Такие председатель райисполкома носил до войны. Только белые. – Филя внезапно дёрнул меня за рукав. – Пошли-ка, слышь, от греха, шпанёнок ты питерский! Тут, поди, мины кругом.

Филя начал почему-то озиаться и тащил меня от этого немца очень настойчиво, а меня лицо притягивало. Вороны так его обработали, что одни белые кости остались – голый череп в каске, и какое-то непонятное, совсем уж *окончательное* выражение было на нём... Оно мне Феню напомнило. Так смерть, наверно, и выглядит...

А Филя торопит:

– Давай-ка, шши, поскорее, – потом останавливается, назад глядит. – Дуй домой, – говорит, – без меня. А мне вернуться надо, вроде котелок видел в кустах – мне такой до зарезу нужен. Во-он там. Вдруг да целый. А ты про немца-то, слышь, никому!.. А?

Шёл я к деревне вприпрыжку, а потом устал – галифе сваливаются, надо поминутно поддёргивать. Карманы тяжёлые, вот и тянут к низу галифе, патронами набиты, жалко выбрасывать. Да, всё забываю Филю спросить: а ел ли его Яликов лягушек? Потом спрошу. Их, говорят, французы любят. Может, и Филя не брезгует? Тогда у него летом вдоволь будет «пишши».

В деревне узнаю: а Феня-то померла.

Поминок, конечно, никаких не справляли. Похоронили Феню в тот же день «на могилах», сразу за деревней, не везти же её на погост, где церковь и поп, за пять

километров! «На могилах» лежат случайные покойники: бездомный бродяга, опившийся денатуратом, красноармеец-окруженец, убитый шальной пулей, грудной младенец, придушенный непутёвой бабёнкой, и вот теперь Феня. Недолго её будут помнить.

Вечером ещё вспоминали бабы. А мужики были пьяненькие – сапёры угостили трофейным спиртом. Сильно окосевший гармонист Семёныч, прикивая левым ухом к мехам своей разлюбезной «гармозы», с зажмуренными глазами и многозначительной улыбкой нетрезвого человека жарил частушки, девки постарше пели, помладше – плясали. Мальчишки разожгли перед каменным домом большой костёр – мы до глубокой ночи бросали в него патроны. Пальба стояла! Как на войне. В небо пускали осветительные ракеты.

Филя Жуликов вошёл в круг в самый разгар гулянья и потребовал у гармониста:

– «Топотуху» давай!

И топотал так, что земля дрожала, и это ему ужасно нравилось. На голове у Фили красовалась немецкая шапка с козырьком. А на ногах... На ногах были новёхонькие – будто вчера со склада – бурки, оч-чень уж мне знакомые.

Филя и меня втащил в круг:

– Пляши!

Я не стал ломаться – плясал, как умел, и он своими трофейными бурками все ноги мне отдал.

А Семёныч голову поднял, глаза вытаращил и рот разинул, орёт:

– Спой, питерский, так-перетак! Покажи деревенским!

Я уже в раж вошёл помимо своего желания. «Чем не концерт?» – думаю. И запел:

Там, там, за кустам

Воробьи чирикают.

Я люблю, как девки пляшут –

У них сиськи дрыгают.

А Филя Жуликов, гоголем пройдясь, шикнул-гикнул нечеловечески тоненьким голосом: «Шши, карандаши, колхозника заели вши!» – и тут же выворотил припев:

Прибежали в избу дети,

Второпях зовут отца:

«Тятя! Тятя! Наши сети

Притащили мертвеца...» Х-хоп!

Было ужасно весело.

### **Дядя Миша**

Помню как его взяли.

Он всегда был такой мрачный и ходил по деревне с низко опущенной головой. Но это для других он был мрачный, для нас с тётушкой, с которой я в то лето жил на каникулах, дядя Миша был человеком весёлым. Он с его двумя классами сельской школы умел работать – мог и сапоги стачать (в детстве перенял ремесло у сапожника, которому служил мальчиком на побегушках), мог и печку сложить, и дом поставить, мог он и хомуты вязать, а это дело непростое, далеко не каждому по уму – тут особенная смекалка нужна. Да, он умел работать, умел и веселиться – в праздники, например, скажем, в Иванов день или в тот же очень памятный яблочный Спас. Хлопнув пару гранёных стаканов самогона и закусив ватрушкой с черникой, он, свесив лысую голову на грудь, пел жизнерадостную, как он считал, песню:

Позарастали стёжки-дорожки,

Где проходили милого ножки...

Я, ему подражая (мальчишка!), тоже с ним выпивал за компанию, тем более что он на этом настаивал, – ну, конечно же, не два стакана, а так – напёрсток, и тоже, удерживая

обеими руками ватрушку величиной с добрую тарелку, норовил, закусывая, отхватить зубами кусочек, как говорил дядя Миша, с кобылий носочек, и, само собой, и рот, и нос, и щёки после этого становились черны, а разве же это не смешное зрелище? И он смеялся надо мною до слёз, я тоже хохотал и, не в силах произнести ни слова, тыкал в него пальцем – рот у него был чёрный-пречёрный и до ушей, как у клоуна.

В тот, последний его Спас, отсмеявшись и почистив содой зубы, мы, все трое, принаряженные, собрались и пошли в кино – каждый со своей табуреткой. Надька-киномеханик утром ещё прибыла в деревню с кинопередвижкой и вывесила на дверях избы-читальни афишу – «Кубанские казаки».

В деревне Яблонце каждый третий из уцелевших после войны мужиков тянул в своё время тот или иной срок или отбывал принудиловку. За всякие пустяки. Кто за самогон, кто за лишнюю яблоню в огороде, у кого-то вдруг оказалось в хлеву две коровы вместо одной, а то и «лишние» овцы, или усадьба увеличилась внезапно на две-три сотки: что за кулацкие замашки такие, понимаешь! В тюрьме сидел Федя Рыжий. Этот пьяница за бутылку шнапса сдал немецким (во!) оккупационным властям двух красноармейцев, выходящих из окружения, – они ночевали в колхозном гумне. За дело сидел, ничего не скажешь, – сволочь и есть сволочь.

Дядя Миша тоже своё «отмотал». В финскую попал в плен на берегах реки Сестры. Ну и до начала Великой Отечественной проходил курс санации на воркутинских шахтах: а нечего в плен попадать, в другой раз умнее будешь!

«В другой раз» он и был умнее – его не убили и даже не ранили, а что до немецкого плена – шиш!

В деревне жизнь на виду, тут каждый про каждого знает всё, каждый человек как на ладони. Дядя Миша родом был из соседнего села, в Яблонце, похоронив сразу же после войны первую жену, он, как это называли бабы, «принялся в дом» к моей тётушке, у которой муж пропал без вести.

А в родном дяди-Мишином Рагозине остался жить заклятый его враг – некий Слизун. Вражда была давняя, необъяснимая, начатая неизвестно из-за чего, пожалуй, ещё прадедами, – родовая, лютая (вспомним-ка Монтеки и Капулетти!). И вот по роковому

стечению обстоятельств дядя Миша с этим Слизуном в Финскую войну оказались, как и небезызвестные песенные два товарища, «в одном и тем полку».

А кино «Кубанские казаки», между прочим, уже крутилось вовсю. Дыни, тыквы, арбузы, хомуты, беговые дрожки, пианино, весёлые да счастливые лица. Жаль Гордея Гордеича и Галину Ермолаевну! Деревенские вдовы плачут, вытирая слёзы концами нарядных своих косынок. Одна Евдокия говорит другой Евдокии, пока Надька меняет бобину в кинопроекторе:

– В кино-то что хошь можно нарисовать. Всё это сказка. Получали бы казаки, как и мы, по сто грамм хлеба на трудодень, так бы не радовались.

А мне кино нравилось.

Я с утра пораньше возил на гумно снопы. У меня пузатая кобылёнка Чайка, злая, кусачая (запрягать сплошное мученье), маленькая и косматая, как лошадь Пржевальского, летала с порожней телегой не хуже чем казачьи рысаки, я же, стоя в телеге, гикал на неё и размахивал над головою вожжами. Нет, кино мне положительно нравилось! А гружённые снопами, мы с Чайкой двигались степенно. Она умная. А я лежал на возу и смотрел в небо: какая бездна! И кто такой я, если бы на меня посмотрели оттуда? А ведь наверняка посмотрели и подумали: «Х-хе, букашка на букашке рожь возит на гумно, где её обмолачивают бабы цепами – ходят по кругу и ритмично колотят по распущенным на земляном току снопам: тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук, да ещё и песни поют под эту ритмику, как в какой-нибудь занюханной африканской деревушке! Никакой-то у них культуры и низкая производительность труда. Тьфу!»

А кино продолжается. У тётушки слёзы текут по щекам, и дядя Миша, вижу, тоже трёт глаза кулаками.

Стрекочет проектор, пищит комарьё, верещат кузнечики в траве, где-то далеко сварливый дергач настырно скрипит про своё, лают собаки, тархтит за избой-читальней движок, а на экране, растянутом между двумя вязами, идёт такая красивая, такая завидная, такая интересная жизнь под музыку Дунаевского:

Каким ты был, таким остался,



### Орёл степной, казак лихой...

Никто и не заметил – не увидел и не услышал, как подкатил «газик» и вышли из него двое в голубых фуражках с красными околышами, в серых макинтошах и хромовых сапогах. Один негромко спросил:

– Федотов есть?

Дядя Миша сразу на этот вопрос отозвался, поднялся с места с опущенной головой и вытер последнюю слезу:

– Есть.

– На выход!

С тех пор я долго его не видал.

Он прошел через Большой дом и был по доносу изобличён как изменник Родины и матёрый финский шпион, и припаяли ему двадцать пять лет лагерей плюс пять лет «по рогам».

Ах, Слизун, так его перетак! Размонтекки его и раскопулетти!

### Карпыч

Н-да, он участвовал в двух войнах. Был в финском плену и за это тянул немалый срок.

– Ай, ей-богонку, – проборматывал ни с того, ни с сего, будучи в изрядном подпитии, Карпыч, качал плешивой головой, – то ли сокрушённо, то ли усмешливо, то ли пребывая в смутном недоумении, вот-вот его посетившем, – ай, гады проклятые, ведь ни за што!

Когда его амнистировали, я учился в техникуме. Газеты в это время наперегонки писали о несправедливо осуждённых, явно симпатизируя бывшим зэкам. Вслед за волной

уголовников из лагерей хлынула волна политических. Карпыч был политическим, чем и гордился.

Карпыч – мой дядюшка , сельский житель , малограмотный «крестьянин», как называл выходцев из деревни сосед наш по коммуналке дядя Семён, глухой, как пень, сапожник-надомник, сам не так давно сбежавший из колхоза.

Карпыч остановился у нас проездом из лагеря домой и жил три дня. За это время он успел с дядей Семёном напиться в стельку и набить сапожнику морду, просторную, как циферблат башенных часов.

– Да, брат, – сказал мне дядюшка про это, – рожа у него – не промахнёшься.

– Лучше б ты, дядюшка, промахнулся, – говорю. – А вдруг заявит?

– Кишка тонка. А заявит – самого заметут. Он же из краденого товара тувфельки дамочкам мастрячит. Я, брат, тоже сапожник, тут я кое-что кумекаю. Знаем мы ихний шахер-махер.

Э-эх. – Карпыч повесил свою громоздкую голову на грудь, как делал всегда, когда о чём-то призадумывался. Ну а сейчас-то о чём?

Более-менее зная его характер, смею с большой долей вероятности предположить: о лагере, о ставшем привычным укладе жизни, о хорошо отлаженной системе взаимоотношений заключённых и тех, кто над ними стоит. Думать ни о чём особо не надо! Начальством давно обо всём подумано! А ты, если умеешь, шустри. Но гляди в оба.

Дядюшке в лагере, ой, как пригодилось сапожное ремесло: года не прошло, как все лагерные начальники форсили в Карпычевых хромовых сапожках – любо-дорого! И он подробно, с большим знанием сапожного дела, любовно, с профессиональным прищуром о каждой паре тех сапожек, которые, поди, и сейчас попирают какую-нибудь зону, начал мне рассказывать...

Я замотал головой:

– Не, не, не, дядя Миша! Про заготовки, колодки, голенища, подмётки и разные шпильки-стельки не надо. Я всё равно не пойму. Сапожное ремесло во где у меня сидит!

Глухой дядя Семён по ночам свою работу работает, молотком стучит, а у нас всё слышно. Почему ночью? А днём он водку пьёт и отсыпается. А скажи-ка, за что ты ему морду набил? Профессиональные разногласия?

– Неправильно он понимает политику партии.

– То есть?

– А, говорит, не надо было тебя на волю выпускать, такого-сякого изменника Родины. Ну, я и...

– Да это ж самосуд, Михаил Карпович! А вот где, позволь тебе спросить, ты кожу доставал в лагере для сапог? – спросил я прокурорским тоном.

– Где-где? – дядюшка даже опешил, а потом рассмеялся. – Это не моего ума дело. Начальство, брат. Там этот шахер-махер почище, чем на воле. Что ты! Они меня расконвоировали. Лошадь дали. Ульдиной звать.

Лошадь, должно быть, звали Ундиной. Я однако не стал у Карпыча уточнять: как правильно звали лошадку. Ну, Ульдина, так Ульдина. Я думаю, тот бывший полковник, ставший зэком, который ведал дизельной электростанций в дядюшкином лагере, именно он – Карпыч с особым чувством о нём рассказывал: дизель работает, полковник книжку читает, на окне – занавеска, на подоконнике – герани, уют, чистота и порядок, – именно он дал романтическое имя рождённой в лагерной конюшне лошадке – Ундина.

– Эх, Ульдиночка моя дорогая! – дядюшка смахнул непрошенную слезу, потёр кулачищем глаз – как не выдавил!? Достал из кармана ватных зэковских штанов бумажник и показал мне фотографию: он и его Ульдина. Он в ушане и ватнике. Вид зэка, и осанка зэка – понурая, а взгляд – исподлобья. А Ульдина – картинка. Я сразу вспомнил сказку Ершова «Конёк-Горбунок»: «Эта пара, царь, моя, и хозяин буду я» и иллюстрацию к ней. Ульдина красавица! Вороная, с серебряной гривой, с таким же хвостом и в серых яблоках. Головка точёная, кокетливо так сидит на изящно изогнутой шее. Переднюю ножку Ульдина подняла капризенько, будто топнуть хочет: давай, мол, Карпыч, поехали.

– Это, брат, тот самый полковник снимал, – Карпыч говорит, любуясь Ульдиной. А красавица Ульдина на снимке спряжена в обыкновенные розвальни, а на розвальнях то ли комод, то ли сундук. Тыкаю пальцем: что за предмет?

– Ларь. В нём я хлеб возил с пекарни – десять километров от лагеря. Заведовал пекарней ссыльный поселенец – наш начальник его трудоустроил. Крупный был когда-то барыга и махинатор. По имени Шалико Грузин. Он-то кожу со мной и переправлял. Я сапоги шил по его заказам, а он ими маклачил. И всё под контролем нашего начальства. Усёк? Там не только я сапожничал, было ещё три-четыре ковырялы...

А водки с этим Шалико выпито! О-о! Я, бывало, так наберусь – себя не помню, а мне ж десять километров по тайге пилить. Умница Ульдина дорогу хорошо знала. Каким бы ни был пьяным, всегда доставит прямо у КПП в целостности-сохранности.

Карпыч поцеловал фотокарточку, сунул её в бумажник, вытер корявым пальцем одинокую слезу и вздохнул:

– Эх, Ульдиночка ты моя!

Он до конца дней своих её вспоминал – так ему запала в душу красавица Ульдина.

А когда я к нему приехал на зимние каникулы, будучи уже студентом университета, Карпыч говорил и о других своих привязанностях – тридцати колхозных лошадях: после лагеря его к ним приставили. Я тех лошадей хорошо знал – каждую «в лицо» и по имени.

Ну и вот...

Ах, да! Забыл рассказать, как я Карпыча после амнистии провожал на Варшавском вокзале.

Сидим мы в зале ожидания, поезда нет, а посадку должны объявить за час до отправки. Карпыч, как говорится, дунувши. А мама мне наказывала: «Ты в вагоне его на место посади и чтобы он вещи берёт, скажи, и с проводником договорись, когда его разбудить». – «Ладно, ладно, – заверил я беспокойную маму, – всё сделаю».

А Карпыч, вижу, трезветь начинает и сильно скучать. По сторонам зыркает. И не сидится ему. Встанет. Сядет. Встанет. Сядет.

– Ты что?

– Да тут навроде буфетишко где-то был?

– В другом зале.

– Схожу посмотрю.

– Сходи, сходи, – говорю, а сам думаю: «Ох, не надо было его отпускать!»

Пришёл через пятнадцать минут, весёленький.

– Сколько? – спрашиваю.

– Да стакан. А чего мараться? У меня, понимаешь, потребность. Это не болезнь, не алкоголизм, а именно потребность. Так наш полковник объяснял. А не выпью – такой становлюсь – святых выноси!

Это уж точно! Сам был свидетелем. Тётушка сладу с ним не знала.

А тут, на вокзале, он, по-видимому, «отлакировал» свой стакан кружкой «Жигулёвского». Ну и заёрзал.

– А где здесь нужник? – говорит.

– На перроне.

– Далече, брат. А вот урна. Кстати. Лучше и не придумать.

Его медвежья фигура возвышалась над дремлющими пассажирами. Я смотрю на него во все глаза в невероятном изумлении, а он:

– Не удивляйся. Это же естественно, наш полковник говорил. Природа берёт своё!

А когда я приехал к нему в зимние каникулы, он как раз борова заколол. Была суббота, а стало быть баня. Попарились мы с ним вволю: еле дотащились, разморённые, каких-нибудь сто метров. Ввалились в дом.

– О, брат, каку хоромину отгрохал, и всё один – девять на девять, три комнаты и кухня. Тебя положим в горнице. Там, брат, фикусы, всякие кружева и круглая печка. Соображаешь?

Тётушку позвал:

– Шурёнок!

Тётушка собиралась в баню:

– Да всё на столе!

А там – печёнка жареная, яйца варёные, сало, солёные огурцы, квашеная капуста, трёхлитровая банка клюквенного морса и... бутылка «столичной».

Карпыч сразу же за неё:

– Душа горит с лёгкого пару<sup>28</sup>

### «Мой старик»

*Он лежал на боку. Он спал, отвернувшись от костра. От озера тянуло сыростью. Я накрыл его своим ватником. Лицо его было таким спокойным. И таким древним. Он был похож на индейского вождя. Я заварил чай в литровой кружке. Чай получился чёрный, совсем как вода в омуте. «Чифир», подумал я. Он любит крепкий чай. Должно быть, от чая у него такое смуглое лицо. Седые волосы и смуглое лицо в глубоких морщинах и с заметным шрамом на лбу – настоящий вождь. Я люблю этого старика. Я так мысленно и называю – «Мой старик». Это совсем не то, что «мой отец». «Отец» – это для всех и для каждого.*

*Мой старик поймал сегодня большую рыбу...*

---

<sup>28</sup> На этом слове рассказ обрывается. А.Н. Петров работал над ним в свой последний вечер, а назавтра, 8 декабря 2006 года, его не стало. Таким образом, это последние написанные им в жизни слова.

*Над Щирским озером дымился белый туман. Я варил в котле уху.*

Мы с отцом рыбачили до позднего вечера – он и я, студент филологического факультета, начитавшийся Хемингуэя.

Когда я признавался в любви к этому писателю, мысленно представляя себе его образ – образ настоящего мужчины, журналиста и писателя, то получал от собеседника снисходительную улыбку: «Папа Хем? Мо-о-дный писатель».

А и действительно, мало у кого из моих сверстников не было его портрета. У меня тоже над письменным столом висела его фотография. Он был *очень* модным. Таким же модным был после своей гибели Джон Кеннеди.

Я готовился стать журналистом.

О, юношеские устремления!

И когда я написал очерк о колхозном конюхе, семь лет из двадцати пяти «отмотавшем» в лагере по ложному обвинению в шпионаже, очерк помимо моей воли вышел «хемингуэевским», я получил за него «пять с плюсом и восклицательным знаком» и сокурсники уважительно хлопали меня по спине. Я готов был раздавать автографы, когда мне говорили: «Старик, без дураков, ты – Хемингуэй», – и цедил сквозь зубы: «Я, как и Хем, женился на медсестре».

«О, мёд воспоминаний!»

Отца я очень любил и, правда, называл его в мыслях «мой старик». Но также я называл и Хема.

Я, начитавшийся его рассказов, смотрел тогда на Щирское озеро, на отца, на себя и на эту рыбалку глазами Папы Хема и его героя Ника Адамса. Помните «На Биг-ривер»? Я думал о себе отстранённо и в третьем лице – никак не в первом. Должен был думать. Да что – я!

На многих молодых писателей, ставших затем известными, даже маститыми, он оказал ... сокрушительное воздействие. Если взять ходовые журналы «Юность» и «Молодая гвардия» 60-х годов, то эта вот благоприобретённая способность думать о себе

в третьем лице, казаться мужественным и невозмутимым и не уметь прощать стала отличительной чертой характера шестидесятников – писателей (Аксёнов, Гладилин, Горышин), их героев и, разумеется, их читателей, эта вот способность – немедленно воскурится из тех журналов романтической дымкой.

Хемингуэй утверждал, что учился писать у ... живописца Сезанна. А что такое Сезанн? Самый «сезанновский» рассказ у Хемингуэя – «Кошка под дождём», Сезанн – это недоговорённость. Вот что говорит Хемингуэй: «Если писатель хорошо знает то, о чём пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует всё опущенное также сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды».

*Жаль было будить моего старика. Уха сварилась. Я смотрел на огонь и пил чифир. Брошенная в костёр недокурная сигарета вспыхнула. Цилиндрик белого пепла был белее белого. Был и пропал.*

*Мой старик поймал сегодня большую рыбу. Потом я взвесил её на старом безмене. Полтора фунта.*

Нет, я не Хемингуэй.

### **Год бодливой козы**

Не повезло мне, ей богу, в Год Козы, хотя я по гороскопу и Козерог: семья развалилась, тёща померла... Впрочем, что уж тут горевать-то... А тёща меня любила и всегда мною хвасталась, горделиво поднимая вверх большой палец:

– Во у меня зять!

Да и я по обыкновению находил у неё политическое убежище, когда на семейном фронте возникали, мягко говоря, некоторые трения и нестыковки.

– Я поживу у тебя, – говорил я в подобных случаях тёще, а она:

– Что, опять эта стерва с ума сошла?!



– Увы! – вздыхал я, стыдливо умалчивая, сколько же раз «эта стерва» стукнула меня по голове увесистой «Книгой о вкусной и здоровой пище».

И вот она, то есть тёщина дочь, а не тёща, внезапно возымела желание, которое удачно укладывается в рекламный слоган: «Хорошо иметь домик в деревне!»

– Ну, хоть бы какую лачугу! – заламывала она руки. – Хоть бы, какую развалюху!

И я нашёл ей на родимой Псковщине полузаброшенное Нечто...

Боже мой, какая же там благодать, в той самой лесной деревушке! Какая тишина, если не считать верещания счастливых в семейной жизни скворцов на старой берёзе, радостного щебетания ласточек на проводах да заливистых трелей неутомимых жаворонков в поднебесье!

А приобретённое мною Нечто было страшилищем из сказки про Бабу-Ягу.

Впрочем, во время отпусков, выходных и отгулов я это Нечто довёл, как говорится, до ума, и оно стало Домом.

И тут тёщина дочь решила завести козу.

– Козу? – ужаснулся я. – А где мы будем её зимой держать? В Питер повезём?

– У тебя какой отпуск? – невозмутимо спрашивает тёщина дочь.

– Ну, месяц.

– И у меня такой же. Летом по очереди будем её пасти: ты – месяц, я – месяц. Ты ей сена на зиму накопишь, я ей веников наломаю и всё это вместе с козой (её, кстати, зовут Зинка) переправим осенью в Струги, к прежней хозяйке. Ты её хорошо знаешь – Ольга Алексеевна. Я с ней обо всём договорилась.

– Её-то я давно и очень даже хорошо знаю. Она добрый человек. Не зря же я зову её мама Оля. Она что, будет приезжать три раза в день за десять километров нашу козу доить?

– Сами будем доить.

– Но я не умею!

– Научишься, ничего хитрого.

С Зинкой, между тем, мы сразу нашли общий язык. В жаркую пору сенокоса мы жили с ней душа в душу. Иду ли я с граблями сено ворошить – она за мной, собираюсь ли на колодец, громыхая вёдрами, – и она тут как тут. «Бе-е! – говорит. – Хозяин, я с тобой». Я – в лес за грибами – Зинка сзади, как собачонка. Я ей ветку ольховую и рябиновую надломлю – она на дыбки встанет и с сосредоточенным видом хрупает листочки. А я уже далеко тем временем отойду. Оглянусь и вижу – несётся во весь опор, догоняет. Догонит, вперёд забежит и таким замысловатым козырем начинает подпрыгивать, изображая восторг, и делает вид, что хочет меня забодать.

А в лесу я её грибами кормил – ела с превеликим удовольствием. Да она и вообще не страдала отсутствием аппетита.

Доил я её в широкую посудину – это чтобы не промахнуться. Заведу на нары, которые в хлеву специально для неё выстроил, поставлю перед мордочкой миску с сухарями и дою. До четырёх литров в день надаивал и в молоке козьем чуть ли не купался. Оно же очень полезное, а у меня с лёгкими не того. Так что тут тёщина дочь в чём-то была и права, впрочем я от неё отдыхал в деревне, я о ней и думать забыл: что она там в Питере да как, в какие наряды наряжается и кому глазки строит – мне «до фени».

Все мои помыслы были связаны с Зинкой, что бы я ни делал: ковырялся в огороде, косил или сушил сено, топил баню по субботам, колол дрова (а дров пиленных у меня во дворе была целая гора – Володя Муха расстарался, беззубый бобыль, за деньги, само собой, и, разумеется, за водку).

Зинка же всегда вертелась вокруг меня, чем бы я ни занимался в течение целого дня, а день в деревне, ох, и длинный!

Я, скажем, дрова колю, а Зинка, скок-скок – и на самую вершину дровяного Монблана, бекает мне оттуда, глядит на меня свысока, осиновою кору грызёт на бревешках и бородой трясёт.

Мне, допустим, надо в автолавку во вторник, в соседнюю деревню – Зинка со мной. Пасётся невдалеке, пока я в очереди стою, и всех вокруг себя презирает – баб, что подхихикивают надо мной, нетрезвых насмешливых мужиков, нахальных деревенских ребятишек и вечно голодных псов-пустобрехов.

Я для неё всегда печенье покупаю в автолавке. Говорю продавщице:

– Мне две буханки хлеба, два батона, две банки мясных консервов, две бутылки водки, два блока сигарет и две пачки печенья «Мария».

– Ой, бабоньки! – слышу вдруг за спиной чей-то визгливый голосишко. – Всё на двих берёт питерский дачник, даже водку. У него что, и коза выпивает?

– Да, – говорю, не оборачиваясь. – И закусывает печеньем «Мария», а потом закуривает болгарскую сигарету.

– Ай-я-яй, что деется, батюшки-светы!

– Зинаида! Зинаида! – строго подзываю козу, затолкав в рюкзак свои покупки. – На печеньеца, радость моя и кормилица!

– Ну это надо, а! – всплескивают руками поражённые бабы. И тут мы с Зинкой гордо удаляемся, а бабы, конечно, продолжают судачить о нас, вернее обо мне, чокнутом питерском очкарике с козой. Читали бы они Гюго, точно прозвали бы меня Эсмеральдой.

Как-то после одного такого вояжа в автолавку возвращаемся домой, подходим к нашей калитке – смотрим: Кира с косой и банкой солёных огурцов.

– Стой-ка! – поднимает косу толстозадая Кира, моя пожилая одинокая соседка. – Стой-ка, стой-ка! Косу не отобьёшь? Огородишко травой зарос, понимаешь, а коса ни х... не режет. Ну, баба я! А баба – баба и есть.

Стоим у калитки, Кира тарыхтит и тарыхтит, но я не вслушиваюсь в её речи, я на Зинку гляжу, а она вокруг нас ходит и ходит и вижу – нервничает. И вдруг встаёт на задние ноги, а передние кладёт мне на плечи. «Бе-е!» – говорит. Знаю: так она выражает недовольство.

– Кира, – говорю, – оставь косу, завтра отобью. А огурцы зачем?

– На вот. Это тебе за работу. А вон, гляди-тко, Володя Муха хромает.

– И при этом сильно шатается, – говорю, присматриваясь к Володе.

А Зинка – опять мне передние ноги на плечи.

«Не к добру всё это, ох, не к добру!»

И точно!

Володя ещё до нас не доплёлся, а Зинка разбежалась и ка-а-ак даст Кире под зад круто загнутыми рогами. Кира: «Ай!» И бежать. Зинка за ней. Догнала. И снова как даст! Как даст! Несчастная Кира завалилась в кювет. Стонет нам и сучит ногами. Пришлось выручать.

А Володя, вижу, уже калитку открыл. Наверняка начнёт у меня водку вымогать: мол, за дрова ещё ты мне должен. Знает ведь, сукин сын, что водка у меня для дела: мне же в Струги сено перевозить, к маме Оле. Ну да ладно.

– Кира, – говорю, – пошли, налью стаканчик в качестве компенсации за моральный ущерб и чтобы задница не болела. Зинка! Зинка! Я тебе!..

А Зинка опять мне передние ноги на плечи.

– не сердись, Зинок, – говорю, – у нас гости. Погуляй во дворе.

Володя Муха тут пьяным голосом:

– А коза тебя, того, любит, зараза. Ишь обнимается!

Потом он скажет: «Она тебя ревнует». Это когда мы станем выпивать у меня на веранде и закусывать Кириными огурцами, а Зинка будет рогами колотить в дверь – сущий таран.

И Володя спросит ещё: «А баба твоя, пока ты тут козу доишь, не скурвится в Питере?» И подожмёт губы беззубого рта, так что крупный его носыра самым кончиком

сприкоснётся с подбородком – совсем как у того колдуна из повести Гоголя «Страшная месть».

«Да и хрен-то бы с ней», – отвечу я Володе абсолютно безразличным тоном. И то будет правда. Меня больше Зинка тревожила: вон вся как разнервничалась!

И вечером она мне устроила! Так саданула копытом после того, как я её подоил, что всё молоко из посуды вылилось на меня. И я растерялся. Стою весь в молоке и ни черта не вижу – лицо мне залила и бороду, и очки...

А утром Зинка и вовсе забастовала. Я у ней и так, и этак: «Зина-Зина, Зина-Зина!» Хоть ты умри! Не даёт доиться – и всё!

Часов до четырёх дня я за ней ходил, уговаривал – ни в какую! Такая всё гордая, боже ж ты мой! Вымя от молока раздулось. Думаю: «Погублю козу. Надо принимать меры. Что делать?» И надумал: «К маме Оле поеду, вот что. У неё таких, как Зинка, пять штук. Если надо, на колени упаду: так, мол, и так Мама Оля поймёт».

Пошёл в соседнюю деревню вместе с козой, решил старого приятеля уломать – у него старенький «москвич». Подхожу – машина на месте, но стоит не на колёсах, а на кирпичках. Приятель под машиной лежит.

– Никола! – ткнул я его ногой в кирзовый сапог. – Выпить хошь?

– А есть? – заинтересованно отозвался Никола.

– В Стругах.

– Счас колёса привинчу. Минутное дело!

...И вот я заталкиваю Зинку в салон, усаживаю на заднее сиденье и обнимаю её, как новобрачную.

Никола уже зажигание включил. И тут, откуда ни возьмись, нетрезвая физиономия Володи Мухи.

– Ты куда это с козой?

– В ЗАГС, Володя, чтоб всё по закону.

– Ну да, ну да, а то как-то не по-людски. – Муха задумался и пошагал прочь.

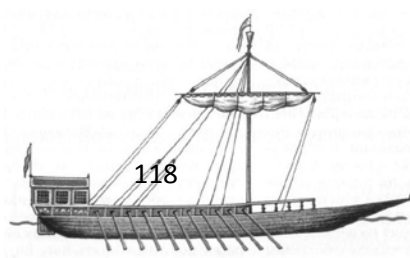
Никола обернулся ко мне:

– Он свою баню продал. Гуляет.

– Мы тоже с тобой гульнём. А, Никола?

– Ну дак ведь!

А осенью я ещё раз сильно гульнул – разбежались мы с тёщиной дочкой. Только Зинка здесь ни при чём.



Дмитриева Людмила Ивановна

*«Какое счастье-жить...»: Стихи.*

\*\*\*

Какое счастье - жить,  
Мечтать, дерзать, любить.  
Вдыхать с весенним садом  
Весеннюю прохладу,  
И слышать, как звенит ручей.  
Как правит свадьбу соловей.  
А утром в солнце окунуться  
И улыбнуться.  
Какое счастье - жить  
И человеком быть,  
Свет зажигать в других глазах  
И сеять радость, а не страх,  
Дарить добро и не беднеть.  
Душой с годами не стареть.  
Еще искать, еще творить.  
Какое счастье - жить!

**Возвращение в детство**

...И сосна чуть скрипит,  
И трава шелестит,  
И пенек-старичок ухмыляется:  
- Что ты ищешь сейчас,  
Пара девичьих глаз,  
Детство, знаешь ведь.  
Не возвращается.

Я к пеньку подошла и его обняла:  
-Знаю, старый, но детства так хочется!  
-Ну, а он мне в ответ, на мой девичий бред.  
-Словно юноша, как расхохочется...

И смеются трава, и березок листва,  
И сосна в меня шишкой кидается.  
Ну, а пень мой молчит, на меня все глядит  
И по-дружески мне улыбается:  
-Я свидетелем был тех невинных забав,  
Тех, что детством людьми называется.  
Детство, правда, ушло, но с тобой мне тепло,  
Значит жизнь, мой дружок, продолжается.  
Видишь, я постарел, а мои сыновья.  
Посмотри, в небеса поднимаются.  
Ну, а я не ропщу, сыновей подращу,  
И умру, как тому полагается.  
Вот и ты не грусти, детство - тропка в пути.  
Что дорогой широкой кончается.  
Только прямо иди, не сбивайся с пути,  
Видишь, солнце тебе улыбается.  
1964 г.

\*\*\*

Благодарю Тебя, Всевышний,  
За то, что даруешь мне жизнь.  
За неудачу и удачу.  
За то, что я смеюсь и плачу,  
За то, что ноги мои ходят  
И руки делают дела,  
За то, что мысли еще бродят  
И голова пока светла.  
Благодарю Тебя, Всевышний.



За то, что продлеваешь жизнь мне.

За то, что радуюсь весне

И лета шалой кутерьме,

И осени золотой, багряной.

Зиме, холодной и румяной.

За то, что учишь нас не ныть.

За жизнь бороться и любить!

\* \* \*

Дарю загадки Вам осеннего тумана.  
Узор из листьев на канве травы,  
И дивную симфонию фонтанов,  
И прелесть догорающей листвы.

### **Лебединая песня**

Песней лебединого осень отзвенела.

Было все, да было все не так, как я хотела.

Может, ты приснился мне? Жизнь, как ты жестока.

Без тебя я на Земле очень одинока.

Показалось, что сейчас, здесь со мною вновь

Ты - моя последняя поздняя любовь.

Нежностью окутана я стою в ночи.

Сердце мое глупое, тише, не стучи!

Говорил прекрасные, милые слова.  
То слова- словечушки, жизнь не такова.  
Им, внимая, я молчу. Что сказать в ответ?  
Прожила я на Земле много зим и лет.

Все ждала, надеялась: мимо не пройдет,  
Счастье мое женское, и меня найдет...  
Вот стою и думаю, где и в чем оно,  
Или мне счастливою быть не суждено?

Потому что счастье - это вдохновенье,  
Потому что счастье - это лишь мгновенья.  
Я мгновенья эти собрала в пучок,  
И всегда со мною их живой цветок!

### **Чуточку**

Я с тобой и без вина чуточку пьяна,  
Мне с тобою моя юность чуточку видна,  
И сердчишко мое бьется чуточку сильнее.  
Небо серое с тобою чуточку светлей.  
Утром просыпаюсь я чуточку счастливее,  
И сама себе кажусь чуточку красивее.  
Ну, а все же почему - чуточку да чуточку?  
Жизнь тебя мне подарила только на минуточку.

## Память

Мы шуршим нашей памятью.  
Как осенними листьями,  
И пьянящим их запахом  
Наслаждаемся вновь.

Мы шуршим нашей памятью.  
Да и памятью близких нам.  
Все надеемся - высверкнет  
Та былая любовь.

Но с осенними листьями  
Ветер быстро справляется.  
Над опавшими листьями  
Он - земной властелин.

Ну, а с памятью, с памятью  
Так во т не получается.  
С этой вечною памятью –  
Ты один на один.

### **По блокадным воспоминаниям**

Нет ни птиц, ни кошек, ни собак,  
В комнате коптилки полумрак.  
Все сгорело, и последний стул  
Влез в буржуйку, тяжело вздохнув.

Хлеба нет, нет больше кипятка,  
Только мамы теплая рука...  
Да застывший серо-серый страх  
В маминых встревоженных глазах.

Отца с братом в санках увезли,  
Место в братской сразу не нашли.  
Раскачали их тела - и в ров.  
Не было ни слез вокруг, ни слов...

Все застыло. Зима. Метель.  
Что же будет с нами теперь?

\*\*\*

Сильна юность фантастической мечтой.

Молодость - стремительными взлетами.

Зрелость же - душевной красотой.

Мудростью и точными полетами.

\*\*\*

Пусть радует Вас снег пушистый,

И солнечный луч золотистый,

И шорох сосны, и звон тишины,

И смеха задорного искры!

\* \* \*

«Как я ночь провела?» - Вы спросили меня.

Была серая ночь - ни костра, ни коня.

Не звенела гитара, не пел соловей,

Я тихонько спала на кровати своей.

А под утро приснился мне звонкий ручей

От меня убежал он к подружке своей.

1999 г.

### **Детям от Снегурочки**

Катит по полю пушок –  
Это зайлька-дружок.  
К нам на праздник поспешает.  
Только пятками сверкает.  
Вот лисичка золотая,  
Ах, нарядная какая!  
А медведь-то, а медведь –  
Любо-дорого смотреть:  
Шерсть блестит, как антрацит,  
Тоже в Новый год спешит.  
Там за лесом, на опушке.  
Две зеленые подружки  
Шишечки свои помыли.  
Веточки снежком прикрыли.  
Ждут они гостей сегодня  
В этот праздник новогодний.  
Вокруг сугробы намело,  
Чтобы было всем тепло.  
В небе звездочки зажглись.  
Вот и гости собрались.  
А волшебник - Дед Мороз –

Всем подарочки принес.

Так давайте развлекаться:

Петь, плясать и кувыркаться.

С Новым годом вас, друзья!

Воробей, медведь и я.

\* \* \*

К озеру бегут тропинки,  
А по ним спешат смешинки.  
Человечка догоняют  
И в водицу окунают.  
Раздается звонкий смех –  
Хороша она для всех.  
Пусть слегка холодновата.  
Выйдешь ты молодцеватым.  
Бодрым, полным силы,  
Человечек милый.

2006 г.

### **Зимний вечер**

Небо двери закрыло наглухо,  
Солнца луч лишь в щели виднеется.  
Зимний вечер мне шепчет на ухо:  
«Скоро ночь», а вот мне не верится.  
Может, солнце сильнее серости.  
Этой тяжести поднебесной?  
Может быть, наберется смелости

И подарит мне луч чудесный?  
Может быть, вечер просто дразнится  
И про ночь мне сболтнул нечаянно?  
День иль ночь, ну какая разница,  
Если солнца я жду отчаянно.  
Но природа неумолима!  
Ночь пришла, и луча не стало.  
Так, наверно, в тебе, любимый.  
Я напрасно любовь искала...

\*\*\*

В закате засияли ветви елей,  
И мысли мои вдруг помолодели.  
Мне очень захотелось полетать.  
Девчонкой озорною снова стать.  
Услышать жизни радостные звуки,  
Забыть о горестях, печалях и разлуках.  
Вдохнуть надежды запах опьяняющий.  
Мечты коснуться вечно окрыляющей,  
До облаков руками дотянуться.  
И хоть на миг в свой юный мир вернуться.  
Вернуться для того, чтобы светило  
Своей загадочностью вдаль еще манило...  
Я знаю, что стою на рубеже,  
Но очень хочется сказать: «Еще», а не «Уже»...  
2006 г.



\*\*\*

Удивительная тишина.  
В озере уснула волна.  
Лес молчит, как будто заколдованный,  
Своим отраженьем очарованный.

Птиц лесных совсем не слышны трели.  
Может, в дальний лес улетели?  
Только стрекоза: «Стрек, стрек»,  
Словно музыка стиха меж строк.

Я сижу у озера одна,  
И ко мне присела тишина.  
Шепчет на ухо: «Меня оцени,  
В твоей жизни редки такие дни.

Улыбайся. Видишь, солнце взошло,  
Чтобы на душе стало светло,  
Этот день - подарок тебе,  
Будь же благодарна судьбе».  
Струги Красные. Песчаное озеро.

\*\*\*

Средь юных сосен куст шиповника расцвел  
И удивил зеленую поляну:  
Кто наградил тебя, товарищ новосел.  
Духами дивными и яркою румяной?  
Ну что сказать, подруженьки зеленые?  
Я от смущенья покраснел, ведь в вас влюбленный я  
Ну, а духи - подарок деве милой, за то,  
Что наградит меня улыбкою счастливой.  
Вот ловелас! - слова услышав эти,  
Стал красоту его трепать проказник-ветер.  
Вы верьте ему, сосны, да не очень.  
Цветет для всех он, чаще - у обочин.  
Ах, ветер, ветер, ну зачем нам правда эта?  
Мы знаем, отцветет он в конце лета,  
А мы останемся, и средь зимы студеной  
Он будет в памяти - шиповник, в нас влюбленный.

Струги Красные, Песчаное озеро

\*\*\*

Я люблю такое небо в облаках.  
Серо-сине-голубое, в кружевах,  
В белой пене я плыву, куда хочу,  
И от счастья вместе с солнцем хохочу.

Так светло, легко и радостно мне плыть!  
Если так легко умела бы я жить...

\*\*\*

Береза просила: «Меня не рубите,  
Сначала детишек моих подрастите».  
Но лесорубы неумолимы,  
Лес этот очень необходим им,  
«И все же, не будьте безжалостны.  
Лес берегите. Пожалуйста!»  
Струги; вокзал; лесовоз, полный  
срубленных берез.

\*\*\*

Уже стою я на краю,  
Вот шаг вперед, и вниз...  
А я стою, в душе пою.  
Твержу себе: «Держись!»

Ну что с того, что на краю?  
А я иду по краю.  
Я очень эту жизнь люблю,  
И потому шагаю.

Не изменяю я мечте.  
Иду навстречу красоте.  
Когда-нибудь в ней растворюсь,  
Живой травой вернусь...

2006 г.

\*\*\*

Осень, как светская красавица.  
Прикрылась веером из облаков.  
Она уверена, что всем нравится.  
А веер - символ лишь игры без слов.

Танцует ивушка с зеленым тополем,  
А рядом хвастается клен-огонь:  
«Я покорю ее своими красками,  
И ты, дубинушка, ее не тронь».

Но тут кокетливо шляпкой рябиновой  
Кивнуло деревце озорнику:  
«Иди ко мне скорей, иди, любимый мой,  
Я красоту твою поберегу».

И осень поздняя кинула веер ей.  
Улыбку спрятала меж облаков.  
Она детей своих любви доверила,  
А веер - символ лишь игры без слов.

### **Гриб**

Природа сегодня мне гриб подарила.  
И гриб тот был белый. Ах, как это мило!  
В коричневой шляпке, на беленькой ножке.  
Стоит он один на зеленой дорожке.

К нему я присела и тихо шепчу:  
«Тебя ведь, красавец, сорвать я хочу».  
Пройду лучше мимо, пускай подрастает,  
- «Сорви лучше ты, меня червь доконает».

Стою я в смятении: быть-то мне как?  
Пусть съест человек его или червяк?  
Ведь оба мы - дети природы –  
Едим красоту. Мы - уроды?

«Все так и не так, - слышу голос я птицы, -  
Дилемма сия никогда не решится.  
Уж лучше сорви и прими как награду.  
Домой принеси и домашних пораду!»

\*\*\*

Из снега вылеплен цветок.  
Похож на розу белую,  
А рядом высится дворец, -  
Вот ручки-то умелые.

За ним Снегурочка стоит  
В раскрашенных кроссовках  
А с горки юноша спешит,  
Весь в джинсовых обновках.

И только глазки-угольки  
Да носики-морковки  
Напомнили традицию  
Снежной зимы-плутовки.

\*\*\*

Я иду на свидание  
В новогоднюю ночь.  
На свиданье с природою, -  
Ее верная дочь.

Вижу: белые шапочки  
Слегка сосны нагнули,  
Ну, а елки-снегурочки  
В хоровод затянули.

Я забыла о возрасте  
И спешу в хоровод,  
С этой вечнозеленостью  
Встречу я Новый год.

Вот сверкнула красавица –  
Озорница звезда:  
- Эй, земное сокровище,  
Загляни-ка сюда!

Видишь, ковш опрокинулся,  
Стал поближе к земле,  
И полярную звездочку  
Протянул в дар тебе.

Неземной сей подарок  
Я принять не могу,  
Я полярную звездочку  
Для друзей сберегу.

Сколько жизней спасла она.  
Сколько может спасти!



Тайна тайн неизведанных

Пусть всем светит в пути.

2005 г.

\*\*\*

Есть счастье высшее в познание красоты.

В гармонии есть жизни совершенство.

А в радость воплощенные мечты

Есть зрелых лет достойное блаженство.

О, годы зрелости, вы - терпкое вино.

Что пьют по капельке, закрыв глаза, - вкушают.

И тем хмельнее кажется оно.

Чем больше счастья нам теперь желают.

В чем наше счастье? В том, что мы живем

И радоваться жизни не устали.

А может, в том, что людям отдаем

То, что когда-то нам другие дали.

\*\*\*

О, моя солнечная осень,  
Пусть небо в тучах и дожди.  
О, моя солнечная осень,  
Не уходи, не уходи.

Еще так зелена трава,  
Лета прощальная улыбка,  
А облетевшая листва –  
Ветра прощальная ошибка.

«Я не ошибся, нет, нет, нет», -  
Шепнул мне озорник.  
И вмиг осиновым листом  
К моим губам приник.

Его холодный поцелуй  
Согрела я теплом.  
Сказала ветру: «Не балуй.  
Ведь мы к зиме идем».

А он осину раскачал,  
Осыпал с ног до головы.  
И вот стою, счастливая,  
Вся в золоте листвы.

2006 г.

\*\*\*

«О, дорогая ты моя, любил ли кто тебя, как я?»  
«Никто, пожалуй, не любил.  
Вот ты мне радость подарил».  
«Ну что ж. вперед пойдём со мной».  
«Ты, друг мой, слишком молодой».  
«Тогда прощай!» - он улыбнулся  
И в майский карнавал вернулся.  
Всего лишь шутка то была.  
Но как она была светла!

## **Ветер**

Облетел оранжевый наряд.  
Обнажил кусты проказник-ветер.  
Ветви меж собою говорят:

«Может, ветер уже осень встретил».

Ну. А ветер все еще шалит,

Разбросал по изумруду злато.

Вдруг ольха мне тихо шелестит:

«Посмотри, как я еще богата.

Сколько во мне солнца и тепла,

Сколько еще нежности и силы.

Ветру недоступна я была.

Ни один листок не обронила».

Я ее, чудачку, поняла,

Подняла желтеющий листок.

Подняла, подальше убрала,

Чтобы ветер оскорбить не смог.

1977 г.

## **Апрель**

Чем же манит нас закат в апреле?

Ветер беспокоен и колюч.

Еще дремлют липы, сосны, ели

Под покровом седоватых туч.

Ручеек молчит, ледком покрытый,  
Еще дышит холодом земля.  
Вечер как-то слишком деловито  
Темнотою кутает поля.

Но закат! Ах, розовость какая.  
Сколько он таит в себе тепла.  
Загляделась тучка молодая.  
Нарядилась и за ним ушла.

Уплыла в его лучах навстречу  
Еде-то заблудившейся весне.  
И погас закат, апрельский вечер  
Место в небе подарил луне.

### **Бабье лето**

Говорит рассвет, что где-то  
Заблудилось бабье лето.  
Бабье лето золотое, ошалело-озорное.  
Только я ему не верю.  
Я открою шире двери.  
Я впущу осенний ветер.

Может быть, он лето встретил  
Может быть, он щедро бросит  
Мне под ноги чудо-осень,  
Шорох листьев, запах леса.  
Зацелует, как повеса.  
Зацелует и обманет...  
А затем зима нагрянет.  
И останется, как сказка.  
Пряный запах его ласки.

1977 г.

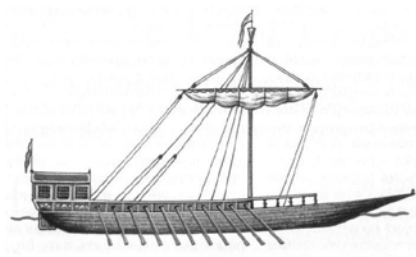
### **Шрапнель**

Немец пролетел над головой,  
Стало небо шахматной доской.  
Головы задрав от удивленья,  
С мамой мы застыли на мгновенье.

Вдруг солдат схватил в охапку нас  
И от смерти неминучей спас:  
Утащил насильно нас в подвал.  
Остальных же расстреляли наповал.

## Пенсионерам

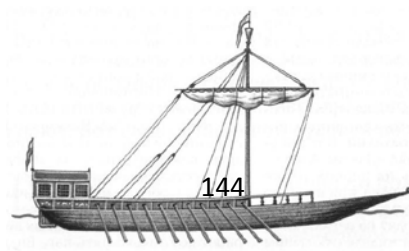
Пусть наша жизнь не соткана из роз.  
Но все равно она по-своему прекрасна.  
У нас есть время слушать шум берез  
И хор пернатых певчих утром ясным.  
И видеть дня волнующий восход,  
И солнца уходящие лучи.  
И созерцать загадку-небосвод,  
И звезды в удивительной ночи.  
Ведь совершеннее природы ничего  
Мы на земле еще не сотворили.  
Так насладимся же гармонией ее.  
Что может быть прекрасней в этом мире?



### Слово об авторах:

**Дмитриева Людмила Ивановна** - родилась в Ленинграде в 1937 году. Пережила все 900 дней блокады, из трех детей выжила она одна, младшая. Отец, Иван Дмитриевич Дмитриев, родом из деревни Яблонец Стругокрасненского района. Людмила Ивановна очень любит Струги, часто приезжает сюда. «Струги Красные, Песчаное озеро и сосновый бор- мое вдохновение»- признается она.

**Фёдоров Алексей Иванович** - родился 30 марта 1979 года в деревне Марьино Струго-Красненского района. Окончил Струго-Красненскую среднюю школу в 1996 году. В 2001 с отличием окончил Военный университет связи. Проходил военную службу в гвардейской Кантемировской дивизии в г. Наро-Фоминске Московской области. В 2003 году уволен в запас. С 2004 года по настоящее время работает в филиале ОАО Мобильные ТелеСистемы «Макро-регион «Северо-Запад» в должности руководителя группы. Проживает в Санкт-Петербурге.





## СОДЕРЖАНИЕ

Лодки-струи

.....

Федоров А.И. Улицы посёлка Струги Красные

.....

Филинова Н. В. Воспоминания учителя-ветерана, малолетней узницы  
концлагеря Зайцевой Тамары Александровны

.....

Анатолий Петров

.....

Дмитриева Л. И. «Какое счастье- жить...»: Стихи.

.....

***Благодарим авторов альманаха  
за бескорыстное  
предоставление своих работ!***  
**Приглашаем к сотрудничеству!**

Обращаться с идеями и отзывами:

п. Струги Красные,

ул. Победы, д.2-в

Центральная районная библиотека

Методический кабинет

Телефон:52-132

Электронная почта: [skbook@pochta.ru](mailto:skbook@pochta.ru)

**Финансирование альманаха-  
Администрация Струго-Красненского района.**

Автор идеи и составитель: Иванова И.Е.

Подбор материала: Федоров А.И.

**Распространяется по библиотекам  
Струго-Красненского района  
и ОУНБ.**

Тираж 100 экз.

